

МИХАИЛ ШЕМЯКИН

МОЯ ЖИЗНЬ: ДО ИЗГНАНИЯ



18+

Михаил Шемякин

Моя жизнь: до изгнания

«Издательство АСТ»

2023

УДК 7.07.071.1:929(470)

ББК 85.1(2)6-8

Шемякин М. М.

Моя жизнь: до изгнания / М. М. Шемякин — «Издательство АСТ», 2023

ISBN 978-5-17-147035-7

Михаил Шемякин — художник, скульптор, график, историк и аналитик искусства, педагог, постановщик балетных и драматических спектаклей и театрализованных действий. Он известен в России памятниками Петру I в Санкт-Петербурге и “Дети — жертвы пороков взрослых” в Москве, постановкой балета “Щелкунчик” в Мариинском театре. Живёт и работает во Франции. Книга “Моя жизнь” — первая часть автобиографии мастера: от рождения в Москве в 1943 году до изгнания из страны в 1971-м. “Это записки человека, благодарного судьбе, сложному, тревожному, опасному и — несмотря ни на что — прекрасному времени; не совсем обычным родителям, удивительным людям, с которыми довелось встретиться, а ещё невзгодам, ударам, падениям и лишениям. Всё это обострило моё восприятие, закалило душу и воспитало характер бойца, солдата и человека, навсегда преданного избранному делу, приучило внимание к людям, умению оценить их достоинства и смириться с недостатками”. Содержит нецензурную брань! В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 7.07.071.1:929(470)

ББК 85.1(2)6-8

ISBN 978-5-17-147035-7

© Шемякин М. М., 2023

© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Вступление	7
Моя родословная	8
Отец	8
Военные трофеи	17
Дума про казака Голоту	18
Мать	20
Мои предки	25
“Белогвардейские гады” и “красная сволота”	25
Бабушка парфетка	27
Ёлочные шары и шишки	28
Очень прозрачный суп	29
Бабушка, внучек и толкушка	30
Костяной палец	32
Бабушка, в шкафу лежащая	34
Что беспокоило бабушку перед смертью?	34
Ранние годы	37
Моё появление	37
Беспокойное детство	41
Дольче Вита	41
Маленький сквернослов	43
Я, генерал и горчица	45
Стремление проникнуть в суть вещей	47
Почему я уважаю крыс	47
Детские годы в Кёнигсберге и вокруг	50
Фрау Берта, Хильда и доктор Геббельс	50
Мрачное застолье	52
Послевоенные забавы	54
Протез инвалида, удививший меня	56
Отрубленная голова	58
Неудавшееся жаркое	60
Послевоенные игрушки	61
Нищенствующая детвора	62
Сны моего детства	62
Детские шалости	64
Мучители	65
Малолетняя проститутка	67
Прощай, фрау Берта, прощай, Хильда	69
“В восемнадцать ноль-ноль...”	70
Хрустальная пепельница	71
Немцы этот банкет не забудут	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Михаил Шемякин

Моя жизнь: до изгнания

То, что меня не убивает, делает меня сильнее.
Фридрих Ницше

Страдание обостряет талант... Однако, избыток страдания ни к чему, потому что тогда оно убивает.
Поль Гоген

В оформлении переплёта использована работа Михаила Шемякина “Автопортрет” 1986–1988 гг. (пастель, цветной карандаш на бумаге) из коллекции Жан-Жака Герона (Париж)



Книга иллюстрирована графикой Михаила Шемякина и картиной Винсента Ван Гога “Палата в арльской больнице” (1889 г.)



© Михаил Шемякин, текст, иллюстрации
© Андрей Бондаренко, оформление
© ООО “Издательство АСТ”

Вступление

Моя автобиография – это записки человека, благодарного своей Судьбе, сложному, тревожному, опасному и – несмотря ни на что – прекрасному времени; не совсем обычным родителям, удивительным людям, с которыми довелось встретиться, а ещё невзгодам, тычкам, ударам, падениям и лишениям. Всё это обострило моё восприятие, закалило душу и воспитало характер бойца, солдата и человека, навсегда преданного избранному делу, приучило внимание к людям, умению оценить их достоинства и смириться с недостатками.

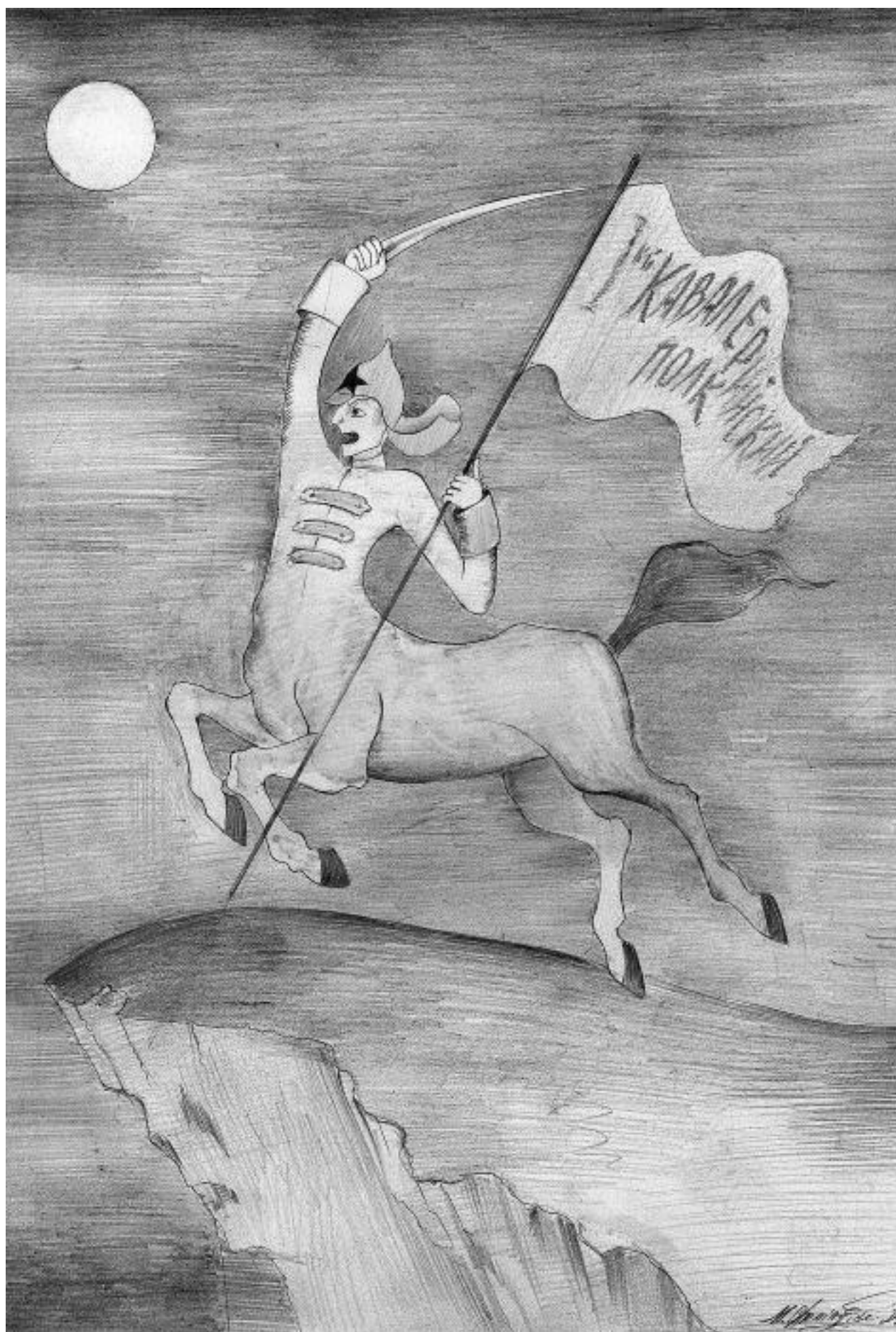
Читатель не раз столкнётся на страницах этой книги с довольно сложными, малоприятными характерами, с безумными и даже жестокими выходками, с на первый взгляд безвыходными ситуациями. Я должен был пережить их – и возникает вопрос: а чем же тогда так прекрасно это время? Что такого в нём расчудесного, если речь идёт по большей части о нелёгких испытаниях? Я постараюсь ответить.

Моя родословная

Отец

*Спасибо вам, святители,
Что плюнули да дуцнули,
Что вдруг мои родители
Зачать меня задумали.*

Владимир Высоцкий



В мире немало людей, отрицающих свою связь с родителями и их влияние на характер и судьбу. Но если внимательно всмотреться в себя, проанализировать поступки, привязанности, взгляды, то мы, несомненно, обнаружим огромную связь, то, что передаётся по наследству – как плохое, так и хорошее. И я не раз размышлял о своих родителях и находил в себе множество их черт, вплоть до образа мыслей.

Мой отец – сирота, беспризорник, сын полка, бравый рубака в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер восьми орденов Красного Знамени, офицер, окончивший Военную академию имени Фрунзе и академию Генерального штаба, и – одновременно – дебошир, не признающий ни чинов, ни званий, в пьяном виде гонящийся с кинжалом за ошалелым от ужаса сынишкой, стреляющий в любимую и терзаемую им красавицу жену. Чуждый карьеризму и денежной наживе, он, по сути, сломал свою военную карьеру, когда, повинувшись долгу чести, встал на сторону опального маршала Жукова. Я надеюсь, что смогу объяснить, почему бесконечно горжусь отцом, считаю его человеком с большой буквы, бесстрашным воином, привившим мне прежде всего понятия мужества, долга и чести. Но и крутой нрав я тоже унаследовал от него – равно как и завещанную им саблю.

...В раннем детстве я страстно желал ему смерти. И эдипов комплекс тут ни при чём. Просто каждый раз, когда отец был сильно пьян, а это случалось постоянно, он не только угрожал, но и много раз пытался на моих глазах убить мою мать. Он гонялся за ней с ножом, с кинжалом, размахивал вытащенной из ножен шашкой, целился в неё из пистолета или же прикладывал его к её виску. Я орал от ужаса, повисал на его руке, обхватывая ладошкой дуло пистолета, надеясь, что она может остановить пулю и спасти мою маму от смерти. Сколько раз до хрипоты в горле, сквозь слёзы и рыдания кричал одну и ту же фразу: “Папа! Папочка! Не убивай маму!!!” И каждый предмет в доме превращался в моём воспалённом сознании в орудие убийства, убийства любимой мной мамы – красивой, высокой, стройной, умной и любящей меня и мою маленькую сестрёнку Танюшу, читающей мне стихи и поющей песни.

Кухонные ножи, вилки, бутылки – всё могло стать в руках пьяного отца страшным оружием. Мне хотелось вынести из дома и спрятать все вещи, которыми отец мог бы воспользоваться. Но куда там! На стене висели перекрещённые кавказские кинжалы, несколько шашек и сабель, а главное – это пистолет, с которым отец никогда не расставался. Я ненавидел все праздники, дни рождения, Новый год. Потому что накануне в моей детской душе поселялись страх и тревога: а папа в этот вечер не убьёт маму?

Иногда за день или за два до начала праздника я подходил к отцу и тихим просительным голосом говорил: “Папа, а ты не убьёшь маму?” Отец, свирепо сверкнув серыми глазами, резко бросал: “Не говори глупости! Марш отсюда!” И я, понурившись, отходил. А праздничный вечер, как дурной, кошмарный сон, оканчивался теми же сценами, теми же криками: “Юля! Я убью тебя!” – “Убивай, сволочь!” – “Папочка! Папа! Не убивай! Пожалуйста, не убивай маму!”

Моя маленькая сестрёнка, проснувшись от воплей и криков, вылезала из кровати и молча, забившись в угол, сжавшись в комок, смотрела на происходящее широко раскрытыми от ужаса голубыми глазами. Лучше бы она кричала, как я, или плакала... Потому что однажды ночью мать, подойдя к её кровати, увидела, что тельце спящей дочки дёргается и изгибается в конвульсиях. Срочно вызванный полковой врач долго сидел у кровати, наблюдая за дёргающимся телом. Уходя, строгим голосом произнёс: “Будете в присутствии ребёнка продолжать дебоширить, ваша дочка будет выделять эти движения не только во сне, а и проснувшись. На научном языке эта болезнь называется «хорей», а в народе зовётся пляской святого Витта”.

Возникало ли у меня чувство обиды за те ужасные сцены, которые пришлось мне пережить в детстве по вине моих родителей? Нет! Обижаться на пьяные страшные дебоши, на то, что детский возраст не принимался во внимание, как было бы положено в нормальном обще-

стве? Опять же – нет! Надо помнить, что само время, которое я описываю, тоже не было нормальным. Я рос в среде военных офицеров. Многие из них, как и мой отец, были участниками Гражданской войны, прошли всю Великую Отечественную. Сказать, что психика у большинства из них в норме, было бы неточно. Пьяные скандалы со стрельбой, увечьями, драками и бесконечными сценами ревности, выяснениями отношений были в порядке вещей.

Ну а дети? А что – дети? На них никто особо внимания не обращал, с ними не церемонились, не цацкались. “Вырастут – многое сами поймут. Мы в детстве и не такое видели и не такого насмотрелись!” Так рассуждали наши родители. Подчёркиваю, я говорю о воинской среде, и среде особой – кавалерийской. Вероятнее всего, дети моего поколения, у которых были штатские родители, росли в атмосфере, весьма отличной от нашей. И разумеется, мы – мальчишки, девчонки – поведение наших родителей не обсуждали и тем более не осуждали. Мы о них вообще не говорили. Да и о чём говорить. Отцы пили у всех, жён били, нас, пацанов, лупцевали. . .

Повзрослев, мы начинали осознавать, кто же были на самом деле наши отцы, рассматривали их воинские награды – а их было немало – и преисполнялись гордости за своих боевых папаш. Нам, мальчишкам послевоенного времени, многое становилось понятным. Какого отеческого тепла я вправе ожидать или требовать от моего отца, всматриваясь в трагическую судьбу шестилетнего кабардинца, потерявшего от рук революционеров родителей? Убийство их, произошедшее на его глазах, он будет помнить всю жизнь. Судьба привела мальчишку в Москву, вместе с другими беспризорниками он околачивался на Хитровом рынке, добывая пропитание воровством с прилавков зазевавшихся торговков. Их ловили, били, сажали в каталажку. Вызволял их из беды добрый дядя Гиляй – тот самый Гиляровский, так прекрасно описавший Москву того времени. Отец с благодарностью вспоминал своего спасителя, которого, как и в детстве, именовал дядей Гиляем. На этом же Хитровом рынке судьба свела маленького кавказца с другом его отца – белым офицером Петром Шемякиным, усыновившим сироту. И Мухамед Карданов становится Михаилом Петровичем Шемякиным. “Бог – дал, Бог – взял”. И через два года мой отец снова на Хитровом рынке среди своих старых друзей – беспризорников, поскольку приёмный отец Пётр Шемякин приговорён революционным трибуналом к расстрелу. И снова воровство хлеба из-под носа торговков, снова поимки, снова побои. Но спасает его на этот раз не дядя Гиляй, не белый офицер, а здоровенный красный кавалерист – казак Пилипенко. И вот кавалерийская бригада под командованием комбрига Георгия Константиновича Жукова пополняется девятилетним красноармейцем – Михаилом Шемякиным.

Для кабардинского мальчика верхом на коне – вещь привычная. В тринадцать лет кавалерист Шемякин дважды, будучи сам раненым, выносит на крупе своего коня из вражеского окружения раненого комбрига. И два ордена Красного Знамени под номером 7 и 13 прикрепляются к его гимнастёрке. Бурное, кровавое время Гражданской войны, конные атаки, засады, перестрелки и взятие и потеря городов, сёл, деревень. Казни, изуверства, песни, пляски – всё это тянется годами. . . На короткий срок банды под командованием батьки Махно соединяются с Красной армией и мой отец становится адъютантом знаменитого анархиста. Участвует в конных схватках, в попойках по случаю очередных побед и наблюдает безумства, устраиваемые бесшабашным Махно. Переодевание в женские сарафаны, платья и салопы, кружение в них на каруселях, сопровождаемое пьяными криками, песнями, бранью и беспорядочной стрельбой в воздух и по случайным прохожим. Эта отчаянная бесшабашность сорвиголов из Гуляйполя навсегда наложила отпечаток на характер и поведение моего отца. Плевать на всё – на чины, звания, порядок, карьеру и мнения. Плевать, как и что подумают!

Достаточно посмотреть на серию работ моего учителя Александра Тышлера, рисовавшего по памяти анархистские гульбища, – “Махновщина”, – или иллюстрации к поэме Сельвинского “Уляляевщина”, где изображён кривляющийся перед зеркалом Махно, переодетый в женское платье, связанные трупы врагов – их волокут по пыльным дорогам несущиеся вскачь

кони, – чтобы понять и почувствовать ту бредовую атмосферу, царящую в знаменитом Гуляй-поле.

И многое для меня становится ясным и понятным. Танцы на банкетном столе в нижнем белье среди ошеломлённых гостей? Ну подумаешь! У батьки и не такое выдвельвали! Хорошо ли, плохо ли, но и я унаследовал отцовский похуизм. Это проявится потом в моих бурлескных хеппенигах с пьяным Кокой Кузьминским, с голыми натурщицами и переодетыми в причудливые костюмы полупьяными друзьями. В безумных попойках в кабаках с цыганами, с дебошами и драками на улицах Ленинграда, Парижа, Нью-Йорка.

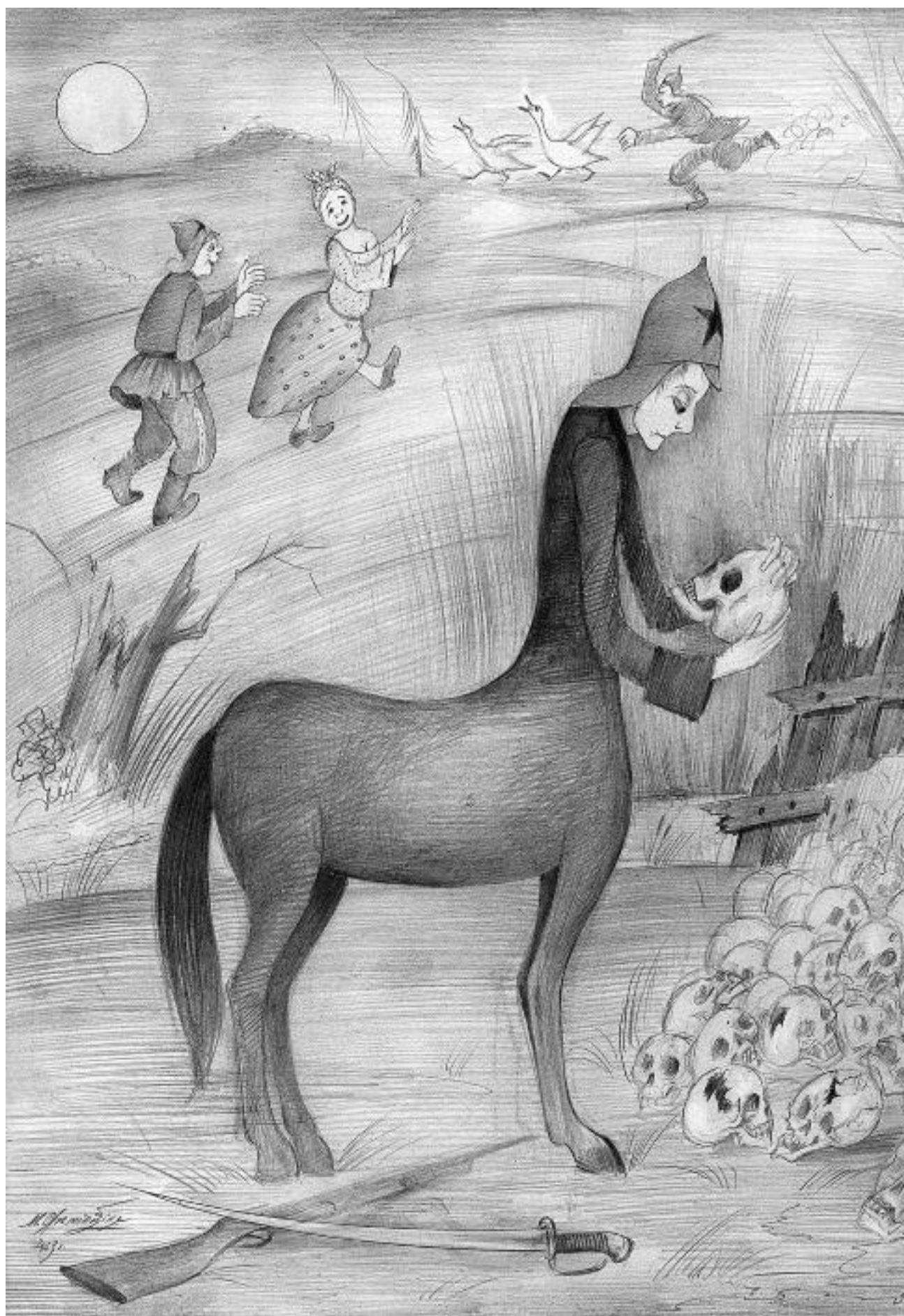
Вот где гнездятся корни моих “Петербуржских карнавалов” и множества листов с гротескными образами и сюжетами.

Отец был не только настоящим джигитом, способным вытворять чудеса верховой езды и одним из немногих умевшим в конных схватках “развалить до седла” врага, но и вообще человеком страстей, с необычными интересами, переданными мне по наследству.

О некоторых расскажу. Пристальное взглядывание в лик Смерти проявилось у него в раннем возрасте... Повсюду он возил с собой и вешал на стене кабинета три чёрно-белых репродукции с картин разных художников. Одна из них изображала боготворимого отцом Наполеона I с супругой Жозефиной. Вторая – автопортрет Арнольда Бёклина: художник с палитрой перед мольбертом прислушивается к мелодии, которую за его спиной играет на скрипке ослабившаяся Смерть. И третья картина, особенно поразившая меня, – знаменитый “Апофеоз войны” Василия Верещагина, на котором изображена пирамида из человеческих черепов. Это полотно напоминало отцу его юность времён Гражданской войны. На окраинах деревень он находил подобные горы черепов, и, пока другие красные кавалеристы бегали по деревне за курами и бабами, отец сидел до наступления сумерек у этой горы черепов, брал в руки череп и старался определить, как был вычеркнут из жизни его “владелец”. Было ли это пулевое или осколочное поражение, правильно ли был нанесён сабельный удар – скользящий или прямой. Всё это должно было пригодиться в бою. Чтобы выжить, надо научиться убивать.

Пройдут десятилетия, и я буду взглядываться в десятки, сотни, тысячи черепов, изображённых на картинах, рисунках, гравюрах и скульптурах разных мастеров и эпох. И буду рисовать не один раз любимого моим отцом императора Бонапарта, буду изучать его “Максимы и мысли узника Святой Елены”. А в моём балете “Щелкунчик” появится Бонапарт в виде воинствующего крысёнка. Бёклин станет моим любимым художником, его “Автопортрет со Смертью, играющей на скрипке” и “Апофеоз войны” Верещагина будут выставляться на мною организованных выставках, посвящённых образу Смерти.

Живя в Америке, я напишу шестиметровый триптих, посвящённый трагической судьбе узников фашистских концлагерей, на котором будут изображены три громадных простреленных человеческих черепа на фоне кровавых надписей: “Бухенвальд, Дахау, Аушвиц”. Создам большую серию картин “Кёнигсбергские натюрморты” – с изуродованными войной черепами погибших солдат. Увеличу и отолью в бронзе для своего парка череп гидроцефала, на котором будет плясать и разыгрывать из себя ворона гениальный клоун Слава Полунин. Потом с моего согласия он сделает себе копию этого черепа в стеклопласте, приделает к нему с двух сторон колёса от старой телеги, присобачит деревянные оглобли, и мы будем поражать и восхищать венецианцев, раскатывая по площади Святого Марка во время венецианского карнавала. Слава в костюме Пульчинеллы потащит этот череп в сопровождении “лицедеев”, наряженных в костюмы по моим эскизам, с пьяным и талантливейшим Антоном Адасинским, изображающим Дьявола. Он будет возлежать в чёрном плаще на вершине черепа, играть на флейте и нести ахинею на выдуманном языке. А замыкать это бурлескное шествие, обозначенное *Memento mori*, будет пластичный и гибкий Анвар Либабов. На ходулях, в развевающихся чёрных лохмотьях, он будет изображать Ворона, которому и положено кружить над черепами.



Вот как – через черепа – взгляд отца из тех далёких времён трансформировался в творчество его сына.

С госпожой Смертью отец познакомился в совсем юном возрасте, и долгие годы Гражданской и Отечественной войн она была всегда рядом с ним. На бескрайних полях конных битв он видел её леденящие душу посевы: отрубленные руки, ноги, головы. Она выбивала из седла его боевых друзей, а утрата старшего товарища генерала Доватора заставила отца первый раз в жизни принять боевые сто грамм. Пристально вглядываясь в страницы жизни отца, я старался понять, что же сделало его таким – вспыльчивым, резким, неудобоваримым для начальства, любимым для простых солдат, бесшабашным, жестоким и добрым, бескорыстным, нетерпимым к крохоборству, холодным аналитиком исторических войн, изучающим и преподающим логику, пьющим дебоширом, не пропускающим ни одной юбки и одновременно до гроба любящим одну-единственную женщину – мою мать. Станный и непохожий всегда! И я, обладая нелёгким характером, накуролесивший в жизни немало, нахожу в себе хорошее и не очень, бесшабашное, бурлескное и аналитическое, и, что уже точно (не знаю, хорошо это или плохо), эту непохожесть на других, пожалуй, во всём.

...Многоликая госпожа Смерть чем-то заорожила моего отца с мальчишеских лет и до того момента, когда во время очередной пьянки решила остановить его сердце. Мысли о смерти в военное время неотступно преследуют бойца. Направит ли она вражескую пулю в его грудь, изрешетит ли тело минными осколками, снесёт ли с плеч лихой пашкой голову или заставит дожидаться её – костлявую – неподвижным обрубок в нищенском приюте. Её пугающие образы отец запечатлевал в многочисленных фотографиях. Сделанные им во время Второй мировой, они хранились в роскошно переплетённых немецких семейных альбомах, найденных в захваченных городах. Вместо довольных отцов семейств с упитанными жёнами и откормленными детьми были вклеены фотографии вмёрзших в российские снега и льды трупов солдат “непобедимой” армии бесноватого фюрера. Эти альбомы я часто перелистывал, когда отца не было дома, и, вглядываясь в обезображенные лица и тела, мысленно сравнивал их с кёнигсбергскими останками фашистских солдат и офицеров, на которые мы с ребятами натыкались во время исследования чердаков и подвалов заброшенных домов. Пройдут годы, и я изрисую сотни альбомов образами госпожи Смерти в самых разных её проявлениях. А моё исследование образа Смерти в скульптурах, мозаиках, фресках, картинах, гравюрах, рисунках и фотографиях будет продолжаться десятилетиями.

Как ни странно, но чем дальше, тем больше я осознавал и понимал, какое влияние оказал на меня отец, из всех видов искусств, имеющий отношение только к военному, не проявляющий ко мне никакого внимания, не интересовавшийся мною. И именно этот человек, прошедший две кровавые бойни, до мозга костей до конца своих дней оставаясь солдатом, сформировал меня для нелёгкого пути художника гораздо больше, нежели моя мать – талантливая актриса, связанная по театральной и киносъёмочной площадке с крупнейшими деятелями искусства. Да, она уделяла моему приобщению к искусству немало времени, но своим давлением на мои взгляды, постоянным контролем будила во мне дух противоречия и отрицания

Не знаю, передаются ли музыкальные пристрастия от отца к сыну, но то, что любил слушать отец, полюбил впоследствии и я. Музыкальные вкусы моего отца были не совсем обычными для круга советских офицеров того времени. Отец любил английские и американские песни тридцатых, сороковых годов. Особой любовью пользовались мексиканские. Из русских песен он слушал Лидию Русланову, Клавдию Шульженко и цыганские песни Ляли Чёрной, с которой у него был роман. Из патриотического репертуара слушал одну лишь “Песню о Щорсе”.

Ну что ж, весь этот “музыкальный набор” дорог и мне. В кабацких загулах в Париже и Америке я орал песню о раненом красном командире Щорсе, ведущем сынов батрацких сра-

жаться за новый мир. Я буду, обливаясь пьяными слезами, слушать великих могикан цыганской песни – Володю Полякова, Алёшу Дмитриевича – и запишу и издам их пластинки. И у меня будет роман с молодой цыганской певицей. Разумеется, мои музыкальные пристрастия не ограничатся песнями Нэта Кинга Коула, или Эллы Фицджеральд тридцатых годов, или мексиканскими песнями времён Панчо Вильи. Любовь к музыке будет включать симфонии, оперы от добаховского периода до Шёнберга, Берга, Веберна и Штокхаузена. Но “музыкальный набор” отца останется навсегда любимым, я буду слушать удивительные голоса Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, к ним прибавятся Леонид Утёсов и Марк Бернес.

Итак, влияние отца на мои музыкальные вкусы я себе уяснил. Но что же ещё? Эстетике одежды, обуви, головного убора отец придавал большое значение всегда. Даже во время войны 41–45-х он умудрялся где-то заказывать хромовые сапоги с квадратными носами. Тулья и козырёк фуражки перекраивались по его рисунку. Китель подгоняли в талию. Серое сукно шинели должно было слегка отливать синеватым цветом и быть особой кавалерийской длины. На зиму заказывалась офицерская бекеша с каракулевым воротником, явно выплывшая из царских времён. Летом к щегольскому мундиру прибавлялся английский стек, который отец носил под мышкой, время от времени постукивая им по голенищам своих сапог. Сохранились фотографии, где отец в костюме английского покроя с чёрным цилиндром на голове.

Ну а младший Шемякин, то есть я, в шестидесятые годы в Ленинграде заказал у подпольного сапожника кожаные туфли с длинными квадратными носами, на высоком каблуке, сделанные по моим эскизам, сшил по бедности из брезента расклёшенные брюки с кожаными вставками, выкроенными из рваного пальто, купленного на барахолке.

По моим же эскизам для меня и моих друзей шьются красные жилеты с латунными пуговицами, нарытыми у старьёвщиков. Раздобываются полосы сыромятной кожи для лошадиных подпруг, и из них режутся широченные декоративные пояса, для которых подпольный мастер по металлическим изделиям изготавливает тяжёлые пряжки (по моим рисункам). Из приобретённого на толкучке старого кожаного пальто сооружается подобие старинного сюртука розоватого цвета. Почему розоватого? Обратная сторона обычного чёрного кожаного пальто оказалась необычайного розоватого цвета, ну просто тициановского (только нужно было неделю скоблить её тонким наждаком). Сюртук получился настолько красивым, что впоследствии его выманит у меня сын Дины Верни Оливье и увезёт с собой в Париж. Что касается головного убора, то мой друг Юлик Росточкин подарил мне необычного фасона фетровую шляпу своего покойного отца.

Пройдут годы, и в изгнании я буду носить сшитые по моим эскизам сапоги из хромовой кожи с квадратными носами, приталенное длиннущее пальто, напоминающее кавалерийскую шинель, а на голову буду иногда нахлобучивать любимый отцом чёрный цилиндр или военную фуражку с изогнутым мной лично козырьком. Итак, экипировка моего отца сказалась на моих вкусах в одежде и обуви.

В полку, которым он командовал после войны, отец создаёт ансамбль танцев Северного Кавказа и Грузии. И, сам великолепно танцуя, учит лезгинке и кабардинке молодых танцоров. Меня он тоже решил обучить кавказским танцам. Надо было танцевать на носочках, то есть на согнутых пальцах ног! И я с согнутыми пальчиками голых ног должен был ходить по паркету пола, подпрыгивать, опускаясь опять же на согнутые пальчики ног. Боль сначала невыносимая. Кожа на сгибе пальцев стирается мгновенно, и ты идёшь со слезами на глазах на так называемых носочках, оставляя красные пятна по всему паркету. Но потом кожа на сгибе пальцев дубеет, и ты можешь надеть ноговицы (сапоги из тонкой кожи, которые правильнее было бы назвать кожаными чулками). И перед выходом взрослых танцоров на сцену вихрем врывается мальчишка в черкеске, в ноговицах и с папахой на голове, кружась на носочках, выкрикивая тонким голосом: “Асса!” И этим маленьким танцором был я. А за мной на носочках, плавно

передвигая ногами в ноговицах, в чёрных черкесах с газырями на груди, размахивая шашками, появлялись артисты папиного ансамбля.

На Красной площади отец, владеющий в совершенстве искусством джигитовки, устраивал феерические состязания кавказских наездников, в которых и сам принимал активное участие. А уже будучи в угнетающем его запасе, в 1958 году по приглашению киностудии «Ленфильм» выполняет сложнейшие конные трюки в батальных сценах на съёмках картины «Кочубей».

Пройдут десятилетия, и я на сцене Мариинского театра создам свою версию «Щелкунчика», где будут рубиться, размахивая саблями, волшебные куклы Дроссельмейера.

Зимой в Америке по настоятельной просьбе «бесноватого режиссёра» Кипы Бальчева, снимающего бесконечный фильм обо мне, я поскачу в пургу по заснеженной дороге на исландском коне, поскольку кони других пород по глубокому снегу не ходят.

А в 2012 году по приглашению коменданта Московского Кремля буду на фестивале военных оркестров «Спасская башня» работать с кавалеристами. Костюмы их были сшиты по моим эскизам, попоны на лошадях расписаны мною. Они будут гарцевать на Красной площади – там же, где устраивал показательные скачки мой отец.

Конь для горца – явление особое. Сегодня на Кавказе шутят, что если взять ДНК у кабардинца, то выяснится, что он наполовину конь. Отец боготворил коней. Я тоже не считаю коней земными существами. Когда смотрю в их глаза, мне кажется, что я заглянул в какой-то иной, ни на что не похожий сказочный мир. В моём сознании отец и конь были едины, и, может, поэтому я назвал его про себя Красным Кентавром и сделал немало рисунков и картин с изображением красного кентавра в будёновке, с шашкой в руке. Моё многолетнее исследование «Кони в искусстве» насчитывает десятки тысяч изображений. Но собак и кошек отец также не обделил любовью. И любовь к четвероногим друзьям привилась мне с раннего детства. Собаки и кошки – эти удивительные существа – сопровождают меня всегда и повсюду. Их изображениями полны десятки толстенных папок. Разные эпохи, разные мастера-анималисты. И в этом тоже моя связь с отцом и бесконечная ему благодарность.

Почерк у отца был идеальный – каллиграфический. Многочисленные блокноты были исписаны исследованиями стратегии боёв разных стран и эпох, особенно его интересовали истории древних китайских войн различных династий. В каждый блокнот были добавлены схемы битв, великолепно вычерченные тушью и цветными карандашами. Я уверен, что кроме обязательных упражнений в чистописании в школьные годы любовью к каллиграфии, приведшей меня к пристальному изучению китайских, японских иероглифов, я опять же обязан генетическому наследию отца.

Скрупулёзный, тщательный анализ исследуемого объекта или явления, присущий старшему Шемякину, передался и младшему. И вот уже свыше полсотни лет я кропотливо собираю и пристально изучаю, анализирую и сопоставляю творческие находки мастеров изобразительного искусства разных стран и эпох. Видимо, и здесь «дотошливость» моего отца в изучении военных дел и стратегий досталась мне в наследство.

Страсть к анализу и сопоставлению была заложена в роду Кардановых ещё в далёкие времена. Сохранилась книга одного из моих предков, жившего в шестнадцатом веке в Италии, – Джироламо Кардано. В ней собрано бесчисленное количество гравюр с лицами мужчин и женщин, испещрёнными морщинами различной длины. Джироламо Кардано занимался сопоставлением и анализом линий морщин, делая из этих наблюдений свои выводы. Ну что ж, в двадцать первом веке один из Кардано по имени Михаил заполняет полки с многочисленными папками, где собраны тысячи изображений самых разнообразных морщинистых лиц и гримас. «Лицо, морщины и гримасы в искусстве». Итак, от Джироламо к отцу, а от него ко мне...

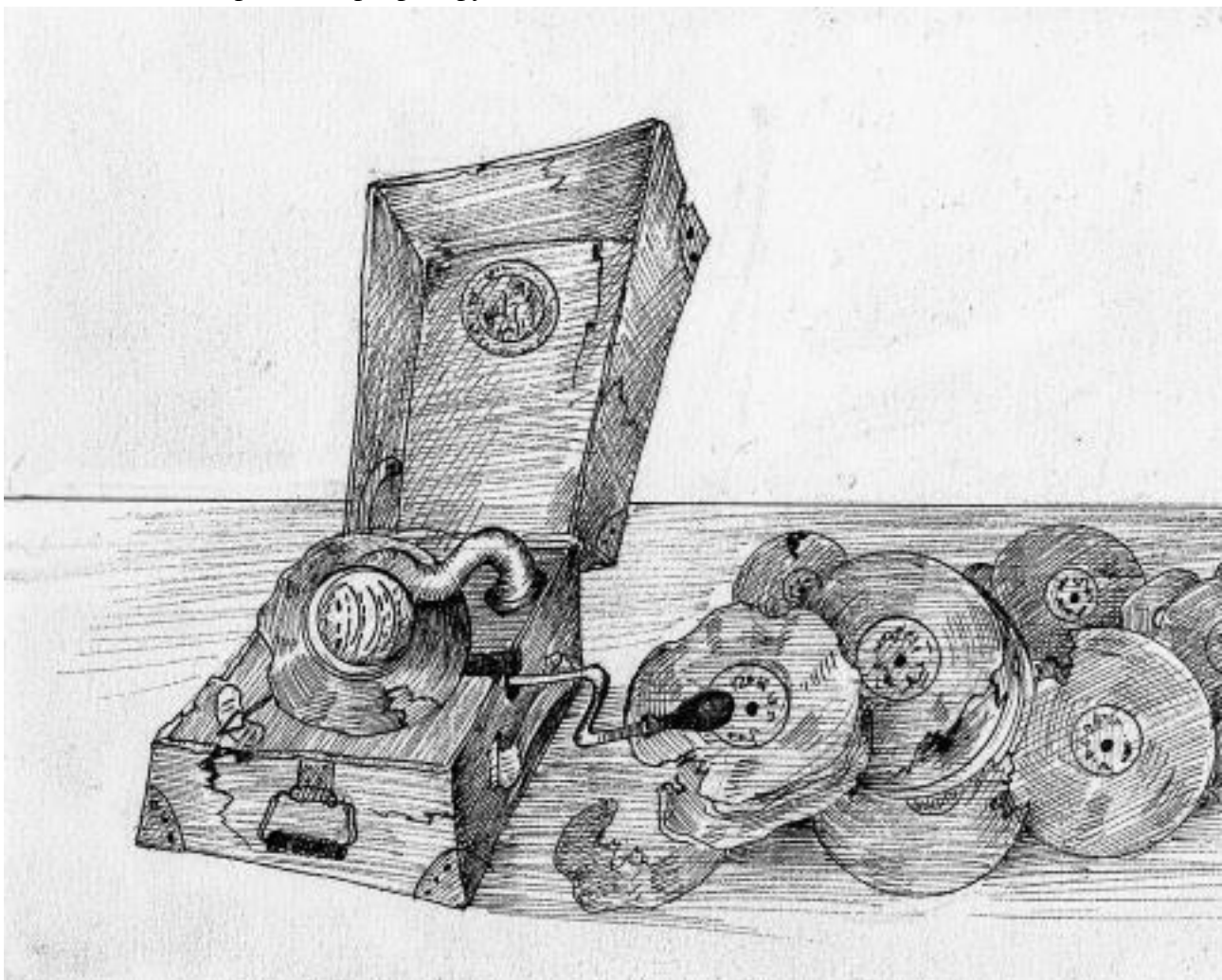
Военные трофеи

Свято чтя честь офицерского мундира, отец никогда и ни в чём не запятнал его. Бескорыстие также было его отличительной чертой, которое однажды привело к смешному эпизоду, весьма огорчившему бабушку и других моих родственников.

1945 год. Война окончена. Бабушка и оставшаяся в живых родня вернулись в Ленинград. На несколько дней прилетел на побывку мой отец...

У тёти Зины кофточка
С драконами да змеями —
То у Попова Вовчика
Отец пришёл с трофеями.
Трофейная Япония,
Трофейная Германия...
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания.

Так пел в своей песне “Баллада о детстве” Володя Высоцкий. С фронта все вояки – от высоких чинов и до рядовых – тащили с собой трофейное добро: десятки часов, отрезы хорошей немецкой ткани, картины, серебро, хрусталь...



Отец, загадочно улыбаясь, объявил родне, что на днях должен прибыть его адъютант Иван, который везёт из Германии удивительные трофейные подарки. И пару дней все ходили в радостном предвкушении даров, которое сменилось удивлением, перешедшим потом в горькое разочарование. В комнату ввалился адъютант с большим мешком за плечами и, опустив его на пол, извлёк из него немецкий патефон, а потом с виноватым видом высыпал на пол большую грудку разбитых пластинок. “Извините, товарищ полковник... Но все дороги были в ухабах...” Ошеломлены и расстроены были все, но больше всех – мой отец. И с горечью в голосе он повторял всё ещё не пришедшей в себя от несбывшихся надежд на дорогие немецкие трофеи, отрезыв, вазы, часы моей бабушке, которую он почтительно всегда именовал мамашей: “Там такие чудесные песни были на пластинках – мексиканские, английские. Жалко, ах, мамаша, как жалко. Вам бы они так понравились!” Отцу и в голову не могло прийти, что “мамаша” и все были огорчены не по причине не услышанных песен.

Дума про казака Голоту

Вспоминается смешной случай из школьного детства. Моими учебными делами отец никогда не занимался и не интересовался, но однажды что-то на него нашло и он решил подготовить меня к уроку истории. Было задано выучить, что из себя представляло крестьянское восстание, возглавляемое казаком Голотой. Ну нужно было пробубнить что-то традиционное об угнетённом народе, доведённом до отчаяния и взявшемся за топоры. Назвать несколько дат и, заработав в худшем случае тройку, опуститься за парту. Но не тут-то было.

Отец достаёт из книжного шкафа десяток толстенных томов, посвящённых истории крестьянских бунтов в России и на Украине. Находит главы про казака Голоту. И несколько часов чертит на листах бумаги схемы боёв бунтарей и царских войск, выписывает и заставляет меня зубрить даты сражений, названия мест, где они происходили, численность войск с той и другой стороны, цифры их потерь, а также численность пушек и вооружения. Но это не всё! Под утро я зубрил строки дурацкой песни, созданной народом и названной “Дума про казака Голоту”.

И вот бледный от бессонной ночи, с распухшей от дат и цифр головой, я сижу за партой и жду вопроса учительницы. “Ну, кто же нам первым расскажет, кто такой был казак Голота?” – нараспев произносит училка. “Я!!!” – воплю я и тяну вверх обе руки. “Ну, Миша, так кто же он был?” И я начинаю выпаливать историю зарождения крестьянского бунта, даты сражений, их места, количество убитых и раненых... Через минут пять, глядя в глаза слегка обалделой учительницы, которая, наверное, и половину услышала впервые, я говорю, что народ, любя своего героя, сложил о нём песню “Дума про казака Голоту”, и, набрав в грудь воздуха, тонким, срывающимся голосом начинаю петь:

Как у казака Голоты шапка дырявая!
Как у казака Голоты...

Но учительница не даёт допеть народную песню. “Хватит, Миша! Ты молодец! Ты прекрасно подготовился к уроку! Ставлю тебе пять с плюсом!”

Первый вопрос отца, когда я приплёлся домой, был: “Ну как? Ты все бои перечислил?” – “Нет, только первые пять с перечислением потерь... Учительница даже не дала мне песню допеть... Сказала: «Хватит, молодец»”. Взгляд моего отца потускнел, и он с разочарованием произнёс: “Ну разве это школа, разве это учение!” И интерес к моей учёбе угас у него навсегда.

За всю свою жизнь он не скопил ничего, умер в небольшой квартирке в Краснодаре, оставив мне в наследство лишь саблю, подаренную ему Будённым, и то я её не увидел, поскольку был выслан из Советского Союза и она была продана какому-то любителю холодного ору-

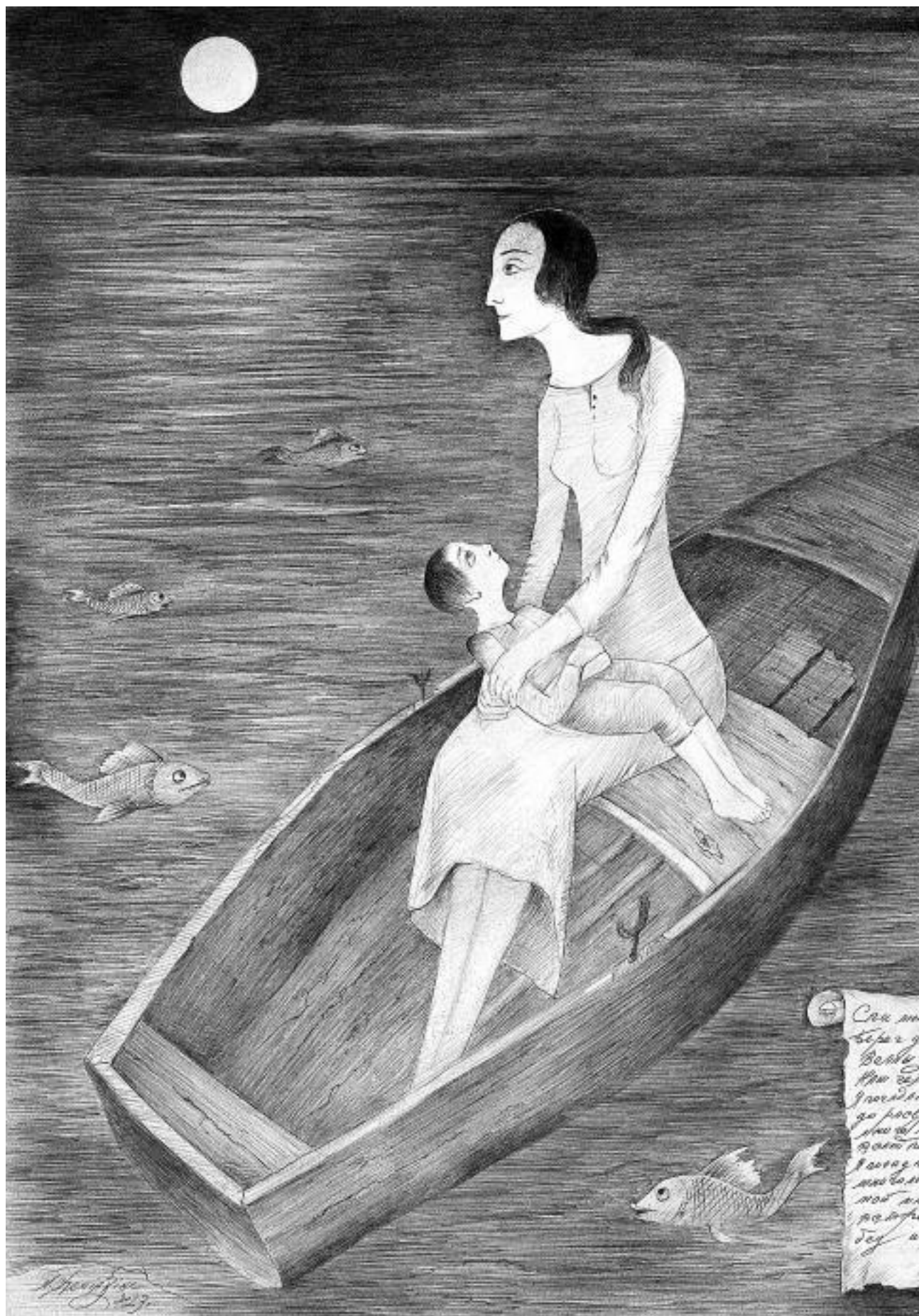
жия. Архивы и его альбомы с фотографиями “на всякий случай” сожгла безграмотная прислуга-сожительница, с которой он незадолго до смерти зарегистрировался, чтобы ей достались его пенсия и квартира. Похоронен на Краснодарском кладбище на Аллее Героев. В его честь названа одна из улиц бывшего Екатеринодара. Ну что ещё из хороших отличительных черт досталось мне от отца?

Понятие чести, долга, ответственности, служения своему делу. Этим я, конечно, обязан ему.

А из отрицательных черт тоже кое-что от папаши перепало. Так же, как и он, я был далеко не равнодушен к женскому полу, если говорить честнее – к женским юбкам, ни одну из которых старался не пропустить. Так же, как и он, по пьянке рукоприкладствовал, в чём потом, как и он, искренне каялся. Долгие годы в промежутках между усердным трудом над картинами и скульптурами с неменьшим усердием служил Бахусу – куда входило пьянство, буза и драки. Ну ещё можно прибавить сюда несдержанность, вспыльчивость, мог вlepить в лоб, невзирая на чины и обстоятельства, стоящему передо мной обормоту всё, что я о нём думаю и чего он стоит. И временами осуществляя это желание, зарабатываю немало неприятностей. Ну, что поделать. Как говорила тётя Женя, сестра мамы, “какой есть, обратно не влезть”.

Ну вот, пожалуй, и все грехи отца, павшие на мою голову.

Мать



Как ни странно, моя мать, принадлежащая к аристократическому сословию, обучавшаяся в детстве игре на виолончели, рояле, окончившая Ленинградский театральный институт, игравшая в Театре комедии у Николая Акимова, снимавшаяся в кино с Черкасовым и Бабочкиным, не оказала на меня и моё творчество такого влияния, как отец – профессиональный вояка. Но ей я благодарен за то, что в совсем раннем детстве она, будучи замечательным читцом и актрисой, ввела меня в причудливый поэтический мир Пушкина, а дальше с её помощью я узнавал Гоголя, Диккенса, Марка Твена. Именно матери я обязан любовью к литературе – и русской, и зарубежной, – к поэзии, к книге. В детстве я безумно любил маму, обожал и боготворил её. И мысль о потере её постоянно грызла и терзала меня, потому что пьяный отец угрожал её убить. И любовь к ней легла мучительным грузом на детскую душу, пробудив щемящее чувство тоски и печали, уносящее её в какие-то неведомые дали, не имеющие ничего общего с реальным миром... Это происходило вечерами, когда я, положив на мамины колени голову, смотрел в полумраке на её чудесное лицо, вглядывался в мерцающие большие чёрные глаза, наполненные грустью, и слушал её голос, напевающий мне о звёздах, о море, об одиноких людях в ночи... И я чувствовал её нежность и любовь ко мне.

Но чем старше я становился, тем меньше ощущал материнскую любовь, и стена отчуждения и непонимания начинала расти между нами. А вместе с этим начинало таять и моё чувство любви к ней, я всё больше и больше отдалялся, уходил в свой мир. Мальчишек в моё время наказывали поркой за любую провинность, это считалось вполне нормальным явлением, и пороли пацанов обычно отцы. Мой отец за всю жизнь ни разу меня не выпорол, ни разу не ударил, а бить меня, именно бить – по лицу, по голове, по спине – начала мама. Произошло это в довольно раннем возрасте, и душа страдала от этого больше, чем тело. Моя мама, самая чудесная на свете, бьёт своего любимого Мишеньку, таскает его за волосы, выдирая их пучками из головы?! Я не мог этого понять, осознать, смириться. Став старше и размышляя о судьбе матери, я многое понял, простил, и всё в моём сознании встало на место. Мать не была злой, наоборот – была доброй, отзывчивой, такой же бескорыстной, как и мой отец, любила театр, кино, книги, но непростая судьба сказалась на её характере, сделав его нелёгким для меня и моей сестрёнки Тани.

Она была взбалмошной, импульсивной, нервной, горячей, бесстрашной и отчаянной, талантливейшей, страстной, красивой и обаятельной. Она писала замечательные стихи, весёлые для детей и грустные для взрослых. В оставленных ею воспоминаниях о войне чувствуется литературный дар. Личность, она не могла быть матерью и только матерью. Дети не стали главным в её жизни. А вот театр был всем! И я понял, что, покинув театральные подмостки, она тем не менее осталась на них навсегда, ибо театром для неё стала жизнь. В этом был ключ к разгадке её характера и поведения. Арена военных действий, в которых она на кавалерийском коне принимает участие, судя по её воспоминаниям, тоже являлась для неё театром, где она играла со смертью в непредсказуемой пьесе... А дальше – беспокойная жизнь с искалеченными ранениями и войнами человеком нелёгкой судьбы и характера – полковником Шемякиным.

И все эти бесконечные пьянки отца с пальбой, маханьем шашками и кинжалами, с угрозами лишения жизни, с криками и слезами – всё это было для неё театром. А дети, их страдания и переживания мало занимали в эти моменты... Похоже, им обоим – и отцу, и матери – нужны были какие-то безумные напряжения нервов, бурлящие отчаянные эмоции, испытанные ими в огненные годы войны.

Сын офицера, прошедшего Отечественную войну, Володя Высоцкий, так же, как и я, старающийся понять и оправдать “особенности” поведения бывших вояк, в своей песне “Охота на кабанов” отразит именно эту мучительную ностальгию бывших фронтовиков по экстремальным ситуациям и по чувствам, рождаемым ими.

Мне сказали они про охоту,

Над угольями тушу вертя:
– Стосковались мы, видно, по фронту,
По атакам, да и по смертям.

Но если пьяные дебоши отца на какой-то период затихали, мне от этого легче не становилось. Заведя очередной полковой роман с какой-нибудь официанткой из офицерской столовой, отец являлся домой лишь под утро. И время томительного ожидания матерью своего заблудившего супруга оборачивалось для меня сущим адом. Прекрасно понимая, что отец не заседает по ночам в штабе, а путается с очередной бабёнкой, ревнивая, обозлённая, со взвинченными нервами, мать вымещала свою злость на мне. Поводы для этого находились всегда. Тройка по какому-нибудь школьному предмету, пятно на ученической гимнастёрке, плохо почищенные ботинки. . . И до возвращения папаши мать кипятилась, орала на меня и осыпала затрещинами. Мне, зарёванному, издубашенному, мучительно хотелось одного – спать и думалось только об одном – когда же возвратится домой отец, прекратятся оплеухи и я доберусь до постели.

Чем дальше, тем больше нарастало отчуждение. Я жил в мире, который она не принимала, более того – считала враждебным. Ван Гог, Ренуар, Сезанн, современные художники Запада были преданы анафеме, а я полюбил их всей душой. И мать рвала на части мои рисунки, акварели, если усматривала в них “импрессионистическую крамолу”. Большой вины её в том не было. Толкали её на это долгие беседы с классным руководителем, отвечающим за “правильность пути” в искусстве вверенных ему учеников. Борец с церковным мракобесием Никита Сергеевич Хрущёв вещал по радио и телевидению, что к концу пятилетки в Советском Союзе не будет ни одного священника, ни одного верующего и с религией будет покончено навсегда. А я потянулся к христианской вере. И моя мама, внучка священника, друга Иоанна Кронштадтского, срывает с моей шеи крестик и демонстративно, на виду у соседней спускает его в унитаз, а обнаруженное у меня Евангелие, которое я прятал от неё, рвёт и выбрасывает в помойное ведро. Всё это сопровождается истеричными криками, бранью в адрес церкви, религии, попов и всех святых. И я опять упрямо стараюсь докопаться до причины: почему? В детстве она вместе с другими пионерами, бодро вышагивая, размахивая красными флажками, распевала антирелигиозные частушки. Одну из них, со смехом пропетую мамой, я запомнил:

Оторвали! Оторвали!
Оторвали у попа,
Не подумайте плохого —
От жилетки рукава!

Мы не маршировали по улицам, горлая антипоповские песенки, но я хорошо помню стишок явно антиклерикального направления, который мы, мальчишки, громко выпаливали вслед быстро семенящему по улице священнику:

Гром гремит, земля трясётся —
Поп на курице несётся.
Попадья идёт пешком,
Чешет жопу гребешком.

“Религия – опиум для народа” – это изречение Ленина знали все от мала до велика. Быть верующим, ходить в церковь считалось свидетельством темноты, безграмотности, бескультурья. Воспитание детей и молодёжи в духе атеизма было одной из основных и важнейших задач коммунистического общества. И моя мать, как и десятки миллионов ей подобных, становилась продуктом атеистической пропаганды. Семьдесят лет в Стране Советов людям прививалась

ненависть к религии, к церкви, к её служителям. В годы детства моей матери взрывали соборы, расстреливали священников, гнали по этапу в лагеря. Не умолкала пропаганда безбожия. Поп – значит, враг, мракобес. Церковь – гнездо идеологических врагов и приют одураченной толпы. Ну как тут не вскипеть праведным гневом, когда узнаёшь, что твой сын – среди них, верующих, одурачен попами!

Была ли она стопроцентной безбожницей-атеисткой? Не думаю. Умная женщина, у неё не могло не быть, как у всякого умного человека, чувства присутствия чего-то Высшего, недоступного пониманию. Как и все в нашей семье, она с глубоким почтением относилась к покровителю нашего рода Иоанну Кронштадтскому и некоторые необычные события в жизни связывала именно с проявлением воли этого святого. А после моего изгнания из России она посетит Псково-Печерский монастырь, где случилось быть послушником её сыну, будет обедать с отцом Алипием и уедет домой с чудесным букетом цветов, которые он сам соберёт для неё. Она полюбит импрессионистов, признает наконец в своём “идиоте” и “недоучке” сыне серьёзного художника и будет светиться счастьем при получении моего первого почётного доктората в университете Сан-Франциско. И, справив своё восьмидесятитрёхлетие в американском поместье сына, упокоится навеки. И её уход из жизни будет являться явным подтверждением благоволения к ней отца Иоанна Кронштадтского на всех путях её жизни. Мать два с половиной года воевала на фронте – и ни сабля, ни пуля не задела её. Она никогда не болела, не лежала в госпиталях и больницах. Вот небольшой отрывок из её записок о войне, в котором ясно обнаруживается литературный дар и одновременно раскрываются черты её характера...

“Я уже бывала фронтовичка. Могу, как говорит Шемякин, «ездить верхами» без усталости... Привыкла к походам. Могу, тоже как все, не спать всю ночь...

Удивительно то, что я на фронте ни разу не испытала чувство страха. Меня ни разу не посетила мысль о возможной смерти или ранении... Думаю, что это от молодости... наивности и глупости...

Полк занял позицию. Вдруг раздаётся истошный голос наблюдателя:

– Воздух! Во-о-оздух! Во-о-о-о-оздух!

Солдат орёт так, что чуть, как говорится, гузённая кишка не вылазит. Это значит – на горизонте немецкие самолёты!

Все быстро прыгают в окопы, бегут к лесу в кустарник, бегут со всех ног!

Я прилягу за небольшим бугорком около окопа, в который прыгнул Шемякин, и буду смотреть на горизонт и на всех понимающих смертельную опасность. В окоп я ни за что не прыгну, как бы ни звал меня туда Шемякин и как бы он мне ни угрожал, – я не боюсь его, я не боюсь бомбёжки, я боюсь... лягушек!

Я их боюсь трагически! Мне кажется, запири меня и лягушку в одну комнату... я поседею от ужаса!

Я знаю, что они безвредные существа... но, как бы я ни уговаривала себя, при каждой встрече с лягушкой я содрогаюсь от ужаса.

У меня бывает отравлен весь день, если я её увижу...

А в окопах их кишмя кишит...

Лёжа за бугорком, я наблюдаю.

– Ну и ну! Политрук-то как перетрусил налёта... в окоп нырнул, чуть не вниз головой...

– А Шемякин-то тоже белый! Вот не ожидала!

И вот на горизонте появляются тяжёлые «мессеримитты». Сколько их? Два... три... шесть...

Чёрными плевками вниз полетели бомбы... отделяясь от них по три, по четыре... по шесть штук...

Отплевались! Улетели!

Бомбили не нас. Бомбили соседний лесок!”

Итак, она боялась лягушек больше всего на свете, но, когда однажды летом перестала их бояться, я понял, что моя мама уходит от меня навсегда. А она-то точно знала, что её жизнь окончится в это лето 99-го года, в поместье сына, расположенном в небольшом американском городке, основанном когда-то выходцами из Голландии, давшими ему имя Клаверак, что по-голландски означало “Клеверное поле”. Поэтому она постарается собрать на свой день рождения родных ей людей, разбросанных по разным странам. Прилетит из Греции внучка Доротей со своей матерью Ребеккой, а из Парижа прилетит дочь Татьяна, ну и, разумеется, рядом будет сын с Сарой, которую она называла златовлаской. Она будет веселиться, петь, читать стихи, и всем будет хорошо и тоже весело! В последующие дни она отдельно каждому из них расскажет, как сильно она всех любит... А в последний день жизни зайдёт ночью к сыну, привыкшему работать в это время, и будет обсуждать с ним его работу над балетом “Щелкунчик” для Мариинского театра. Потом ещё долго, до рассвета, будет в постели читать любимого Набокова. А утром отправит всех прогуляться по городу, но сама не пойдёт, сославшись на усталость, и, когда все её оставят, она ляжет на кровать, сложит руки, закроет глаза и уйдёт из этого мира навсегда.

И всё так и произошло, как она задумала, по последнему в её жизни сценарию... Как сейчас помню этот необычный день примирения моей мамы с лягушками. Ничто в моей душе не предвещало её ухода. Весёлый день рождения, мать вроде бы готовится прочесть в Париже лекцию о поэзии Серебряного века для русской аудитории, запоем читает Набокова, благо я приобрёл для неё многотомник. Единственное, что не по душе маме, это присутствие на нашей территории лягушек, причём разной формы, величины и окраски. Встречая немного опечаленную мать, я сразу спрашивал: “Лягушка?” Мать кивала. “Ты знаешь, Мишенька, я подхожу к двери, а по ней ползёт лягушонок! Они здесь ещё и ползают!” Видимо, она увидела одну из древесных лягушек, ползающих по деревьям при помощи присосок на лапках.

В этот день, приехав из города, я увидел вдалеке белеющее платье матери, сидящей у небольшого озера, в котором водились всевозможные виды лягушек, среди них и бычьи лягухи размером с небольшого кролика, издающие вместо привычного кваканья оглушительный рёв, напоминающий рёв быка. Я в ужасе поспешил, думая, что застаю мать в полубморочном состоянии от вида, соседства и количества нелюбимых ею существ. Мать сидела на скамеечке у самой воды, и лицо её было грустно-мечтательным и светящимся какой-то неземной добротой. Подняв на меня глаза, она тихо произнесла: “А знаешь, лягушки, они добрые... я это поняла... и я с ними помирилась...” И вдруг моё сердце охватило чувство невыразимой тоски... Через день её сердце остановилось.

Мои предки

“А скажите, пожалуйста: кто муж графини?

...Муж графини – графин?”

Андрей Белый. Петербург

Миша! Мне митрополит дал титул графа, вручил грамоту и шагу с бриллиантами. Дома вынул шагу из ножен, а на ней выгравировано: “Князь М.К. Аникушин”. Так кто же я на самом деле?

Из разговоров с Аникушиным

После перестройки среди новых русских началась мода на титулы. Ещё бы: принадлежность к родовой знати становится не опасной, а почётной. За приличные деньги стряпались сомнительные родословные и не менее сомнительные гербы. И бывшее пролетарское рабоче-крестьянское государство стало обрастать невидимым количеством самозванных графов, графинь, княгинь и князей, баронов и баронесс.

Я рос в то время, когда только “правильная” запись в анкете обеспечивала семье относительную безопасность. Совсем другое дело, если у тебя сомнительное социальное положение. Как пример, привожу выдержку из автобиографии моего отца:

“В 1934 г. выводом комиссии по чистке рядов Красной армии я был исключён из ВКП(б) и уволен из армии за сокрытие социального положения. Гв. полковник М.П. Шемякин. 22 июля 1947 года, г. Калининград”.

Итак, с предками отца всё ясно.

Отец моей матери Николай Алексеевич Предтеченский – дворянин, гардемарин, венчается в 1915 году в Николаевской церкви Морского инженерного училища Императора Николая I в Кронштадте с Марией Памфиловной Лаптевой, дочерью регента кронштадтского Андреевского собора. В 1916 году вступает в партию большевиков. А его брат Вадим Алексеевич Предтеченский вступает в 1918 году в Добровольческую армию и вскоре погибает.

После революции бывший гардемарин растит двух дочерей – Юлию и Евгению. Старается дать им хорошее образование: музыка, иностранные языки. Дружит с Кировым и после его убийства, как и многие приближённые, расстрелян. На вопрос, где могила бабушки, я получил от бабушки оплеуху и грозное предупреждение, чтобы больше глупых вопросов не задавал. Осталась фотография морского офицера, сидящего в каюте корабля, и фотография расстрелянного белого офицера в мундире с мохнатой папахой на голове, опирающегося на шашку. Первый – Николай Предтеченский, мой дед, второй – его брат Вадим.

В 1935 году Мария Памфиловна, потеряв мужа, живёт тяжело, растит дочерей и выходит вторично замуж за музыканта из Сибири – Петра Савельевича Пестерова, от которого родила ещё двух девочек, Валентину и Ларису. И до самой смерти ведёт хозяйство.

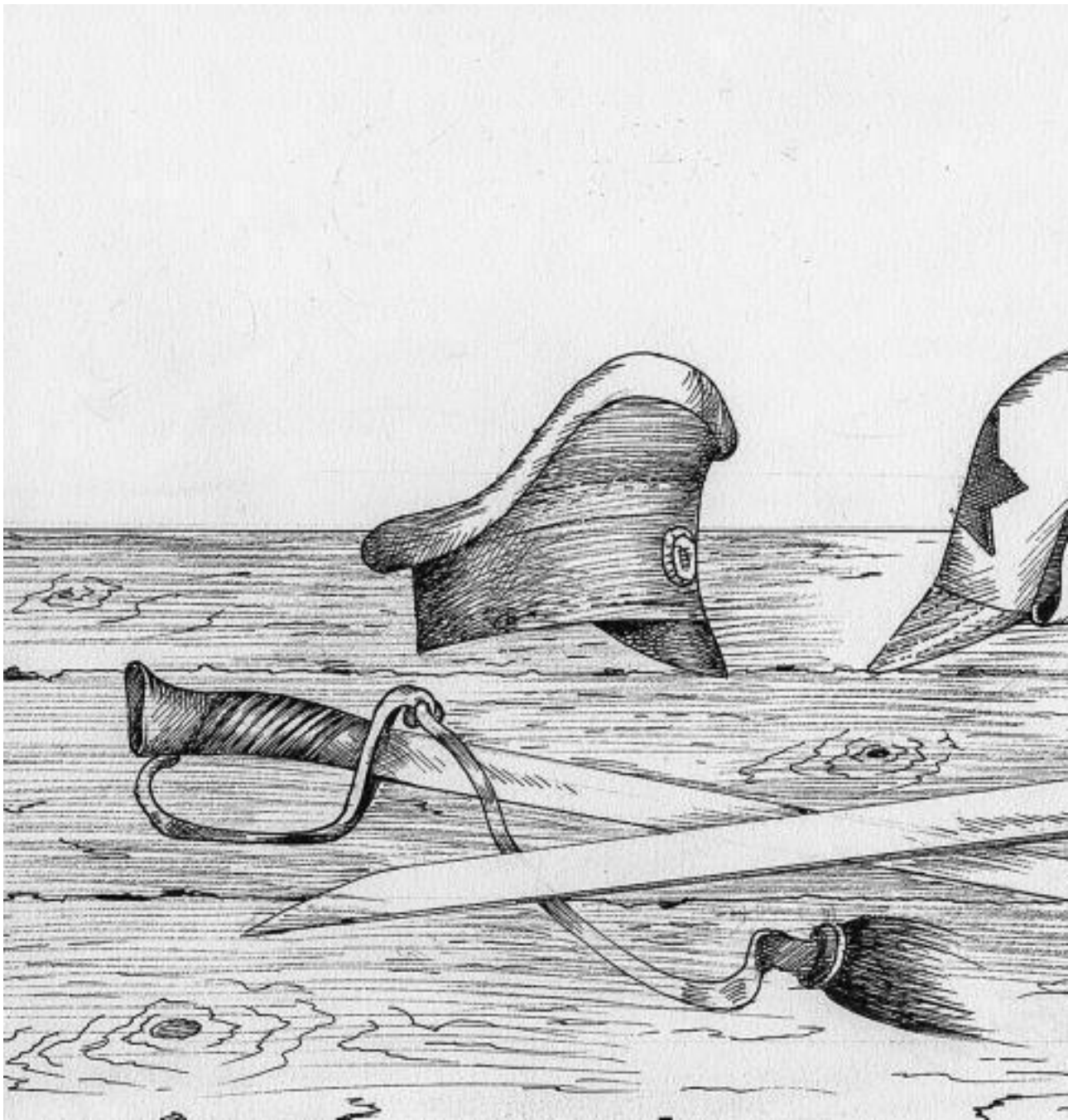
“Белогвардейские гады” и “красная сволота”

От других не отличались —

Пели, плакали и дрались...

Утомлять перечнем и описанием своих родственников мне не придётся, поскольку знаний и сведений о них у меня, как говорится, кот наплакал. Да и разговоры о близкой и далёкой родне в нашем семейном кругу по понятным причинам не велись. Хотя ещё в отрочестве я хорошо усвоил, что часть семьи и родни делилась на “белогвардейских гадов” и “красных

сволочей”. Такими эпитетами после нескольких стаканов водки, выпитых за праздничным столом, награждали друг друга идейные противники перед началом драки, которую моя бабушка прекращала ведром холодной воды. “Ну, мамаша, нельзя вам так нервничать”, – говорил мой отец, поднимаясь с пола и стряхивая с себя воду, оставив поверженную “белую гниду” лежать в луже. Надо прибавить, что бабушку мой отец бесконечно уважал и побаивался.



“Красную сволоту” представлял за столом мой отец, а “белогвардейскими гадами” были Леонид и Борис, родные братья моей бабушки, в прошлом офицеры царской армии, отсидевшие немалые сроки в сталинских лагерях.

Если разговоры о политике не возникали, то праздничный обед обходился без мордобоя и за столом звучали песни дореволюционного времени. У каждого исполнителя был свой репертуар. Первой пела бабушка “Балладу о шуте”, который за подаренный ему поцелуй королевы лишился головы. И когда дрожащим от волнения голосом она пропевала последние слова куплета, где гневливый и ревнивый король бросает отрубленную голову шута к ногам неверной королевы, в глазах её сверкали слёзы.

Мирный застольный концерт продолжался довольно замусоленной арией Роберто из “Иоланты” Чайковского в баритональном исполнении Леонида (из нашей родни он отсидел самый большой срок). “Кто может сравниться с Матильдой моей!” – пел “белогвардейский гад”, нарочито крепко прижимая к себе молодую жену явно не дворянского происхождения, по возрасту годящуюся ему во внучки, и обводя сидящих за столом победоносным взглядом.

Белогвардеец Борис – великолепный танцор, жуир и бабник – с чувством пел куплеты графа Данило из “Весёлой вдовы” Легара. “Мне, чёрт возьми, не повезло!” звучало у него особенно убедительно. А припев “Иду к «Максиму» я, там ждут меня друзья” увлажнял его глаза.

Красавица циркачка Евгения, родная сестра мамы, растягивая меха аккордеона, великолепно поставленным голосом пела с надрывом: “Здесь под небом чужим...” И при словах “сердце бьётся в груди и как хочется плакать” плакали все – и белые, и красные.

Моя мама, с лёгкой усмешкой глядя на присмирившего полковника Шемякина, под аккомпанемент гитары затягивала любимую песню “Каким ты был, таким остался, орёл степной, казак лихой... Зачем, зачем ты снова повстречался, зачем нарушил мой покой?”. Отец приосанивался и горделивым взглядом обводил “белогвардейцев”.

Семейство бабушки вообще было музыкальным. Сводная сестра мамы Лариса пела и выступала в клубных концертах и, аккомпанируя себе на аккордеоне, подмигнув мне, заводила популярную в те годы песенку “Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?..”

Они были расчудесными, эти мирные семейные застолья, с единственным минусом, который заключался в неизменности репертуара исполнителей. Слова их песен я знал наизусть, и лишь боевые схватки между “беляками” и “красными” хоть как-то разнообразили концертную программу.

Приезды бабушки к нам в Кёнигсберг или наши визиты к ней в Ленинград были всегда для меня радостными праздниками. Ещё бы... Пирожки, ватрушки и варенье, которое варилось из яблок, крыжовника и малины, собранных бабушкой в нашем кёнигсбергском саду, сказки и весёлые смешные песенки.

Бабушка парфетка

В семье внуки больше всех любят бабушек, я не исключение, а бабушки очень любят внучат, я был у бабушки любимым. Мария Памфиловна не походила на добренькую и “сдобненькую” старушку из сказок. Она следила за собой, была стройна, строга к себе и к людям, и всё хозяйство в доме лежало на её отнюдь не богатырских плечах. Но ко внуку Мишеньке она была совсем не строга, и мне прощалось всё. В описанных мною небольших эпизодах из её жизни будет вырисовываться образ этой не совсем обычной женщины.

...Мария Памфиловна была крестницей Иоанна Кронштадтского, причисленного к лику святых Московским патриархатом, и петербургский святой покровительствовал ей до конца дней. Училась она в Смольном институте благородных девиц, и я, когда стал постарше, узнал от неё интересные подробности из жизни “кисейных барышень”, как называли воспитанниц Смольного.

Плаксивых и изнеженных девчонок мальчишки всегда презрительно звали “кисельными” или “кисейными”. От бабушки я узнал, что выпускные платья воспитанниц шились из кисеи, а жизнь в монастырских стенах Смольного института была отнюдь не “кисельной”. Всегда холодные стены дортуаров¹, в которых спали воспитанницы на жёстких матрасах, укрываясь тонким одеялом. Температура 16 градусов. Подъём в шесть утра. Более чем скромная еда и учёба, учёба, учёба. Отдохнуть и отоспаться можно было только в лазарете. За малейшую провин-

¹ Общая спальня в закрытых учебных заведениях.

ность, небрежность в учении и неряшливость в одежде можно было получить обидное прозвище “мовешки”, поэтому все стремились быть “парфетками”, то есть относиться к классу “совершенных”, куда входили умения себя вести, делать изящные реверансы, идеальная осанка и соблюдение всех институтских правил. Разумеется, моя бабушка числилась в первых рядах “парфеток”.

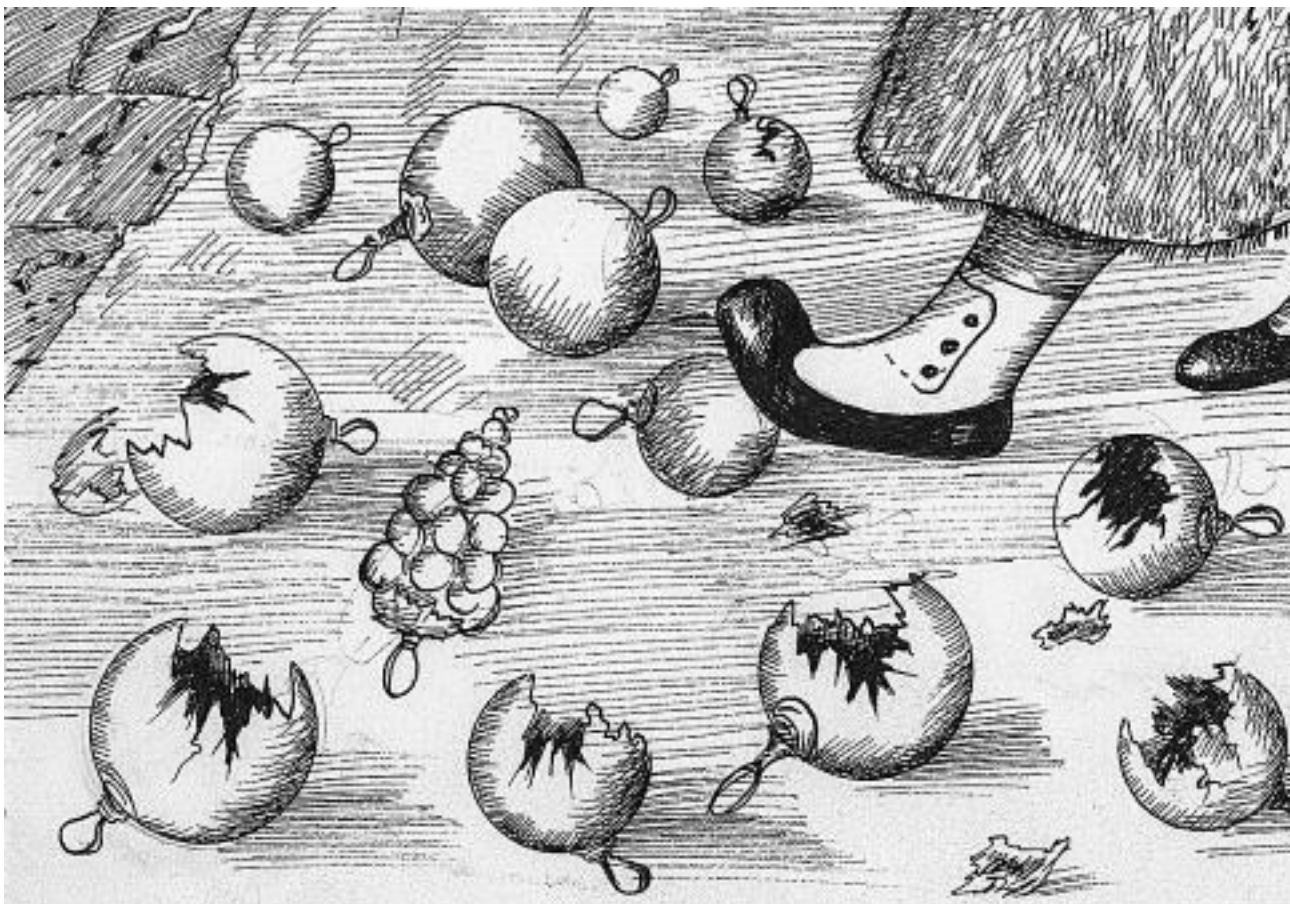
В самодеятельных кружках воспитанницы разыгрывали смешные пьесы, где бабушке всегда доставалась роль озорного хулиганистого ученика, который пропеваает изумлённому учителю свою версию географии. И бабушка, надув щёки и сделав большие глаза, смешно вытанцовывала передо мной, размахивая руками и распевая абсурдистские стихи о “меридианах, на части делящих все страны”. Но если кто-то входил в комнату, бабушка мгновенно прекращала пение и танцы и, напустив на себя серьёзный вид, углублялась в книгу.

По утрам, когда бабушка возвращалась с ленинградского рынка, я каждый раз получал от неё красного леденцового петушка на палочке – их изготавливали и торговали ими цыгане – и книжки с иллюстрациями Лебедева и Конашевича, которыми были оформлены стихи Маршака. Смеясь, я читал, как “дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж...” И как человек рассеянный “вместо шапки на ходу... надел сковороду”, и про старого пожарного Кузьму, который “сорок душ от смерти спас и бился с пламенем не раз”.

С теплотой и нежностью вспоминаю бабушку, её пение про шута, любящего королеву. В последние годы жизни петь ей мешала смертельная болезнь горла, слабенький голос её во время пения часто прерывался. “Маруся! Ты не пой, не пой. Ты просто говори”, – просил её муж-сибиряк. Но бабушка лишь махала на него рукой и продолжала напевать.

Ёлочные шары и шишки

Новогодняя ёлка в те годы украшалась игрушками, сделанными из прессованного картона; окрашивались в яркие цвета различные зверюшки из русских народных сказок и басен Крылова: зайцы, лисы, кузнечики, бабочки и муравьи, волки и золотые рыбки. Часто игрушки шились из ваты и тряпок. Сверкающие стеклянные ёлочные шары и шишки были редкостью. А у бабушки они были с дореволюционных времён, и соседи по коммуналке знали об этом. Както раз накануне Нового года сверкающие серебром и золотом стеклянные игрушки исчезли. Бабушка, никому в коммуналке о пропаже не сказав, рано утром надевает на валенки галоши и отправляется на рынок, где торгуют разным подержанным барахлом прямо на тротуаре.



Шары аккуратно разложены на цветастой тряпке. Возле них продавец – сосед по квартире. Увидев бабушку, он краснеет и пытается что-то ей объяснить. Не слушая его, Мария Памфиловна молча топчет галошами хрупкое ёлочное стекло. И когда на тряпке ничего, кроме радужных осколков, не остаётся, так же молча поворачивается и уходит. “Задержать её надо! Чего ж ты, мужик, молчишь?! Сейчас милиционера кликнем!” – галдит ошарашенная учинённым разгромом базарная публика.

“Не надо милиции!” – злобно произносит торговец игрушками и, вытряхнув с тряпки осколки стекла, сворачивает её и быстро уходит. Вечером на кухне, проходя мимо моей бабушки, вороватый сосед тихо произносит: “Спасибо вам, Мария Памфиловна. Простите меня”.

Очень прозрачный суп

Воспитаннице института благородных девиц, вдове царского офицера, очутившейся после Октябрьской революции в большой коммунальной квартире, наполненной далеко не аристократическим людом, не хотелось обнаружить перед ними навалившуюся на её семью бедность. Поэтому, даже когда деньги за заложенные в ломбарде вещи кончались и с ними исчезали последние продукты, бабушка продолжала “держать марку” – соседи должны были видеть, что обед у её семьи, как всегда, готовится.

И в “постные” вечера на коммунальной кухне разыгрывался спектакль, режиссируемый моей спесивой бабулей. Её дочь Лариса торжественно выносила из комнаты тяжёлую кастрюлю и ставила её на горящую плиту, затем, приоткрыв крышку, из-под которой начинал валить пар, бросала туда горсть соли и помешивала поварёшкой.

Время от времени дверь бабушкиной комнаты приоткрывалась и вдова царского офицера громко спрашивала Ларису, не забыла ли она положить в суп картошку и укроп. И под конец: “Хватит, неси в комнату, иначе мясо совсем разварится!”

И Лариса, сняв булькающую кастрюлю с плиты, важно проносила её мимо соседей. А поздно ночью, когда соседи спали, бабушка, тихонько открыв дверь, несла тяжёлую кастрюлю в уборную, и остывший “суп” выливался в унитаз.

Но однажды из-за неловкости исполнительницы главной роли спектакль потерпел фиаско. Лариса, снимая кастрюлю с огня, нечаянно опрокинула её на пол... И все коммунальные сплетницы, толпившиеся на кухне, увидели, что ни разварившейся говядины, ни картошки, ни укропа на полу не было...

Бабушка, внучек и толкушка

Детям нужна любовь, особенно когда они этого не заслуживают.
Гарольд Халберт

В раннем детстве я был упитанным крепышом с весёлым, хулиганистым нравом и неукротимой энергией. Бабушка, приезжая к нам в Кёнигсберг, не отпускала от себя любимого внука ни на минуту.

Как-то раз она возилась за кухонным столом – толкла деревянной толкушкой картошку в кастрюле. А обожаемый внучек разгуливал по столу и с любопытством следил за её действиями. Особенно его заинтересовала толкушка.



На мгновение бабушка занялась чем-то другим, а развесёлый карапуз вытащил из кастрюльки толкушку и треснул ею по голове бабушки.

Взору мамы, случайно заглянувшей на кухню, предстала необычная картина. По кухонному столу бегал её сынок, смеясь и размахивая толкушкой, а на полу в обморочном состоянии лежала его обожательница, его бабуля. Как ни странно, эта история с толкушкой вызвала восторги у всей моей семьи, и больше всех восторгалась чудесным сильным малышом и покрывала его поцелуями сама бабушка. Видимо, ей было предназначено получать подобные “подарки” от внука.

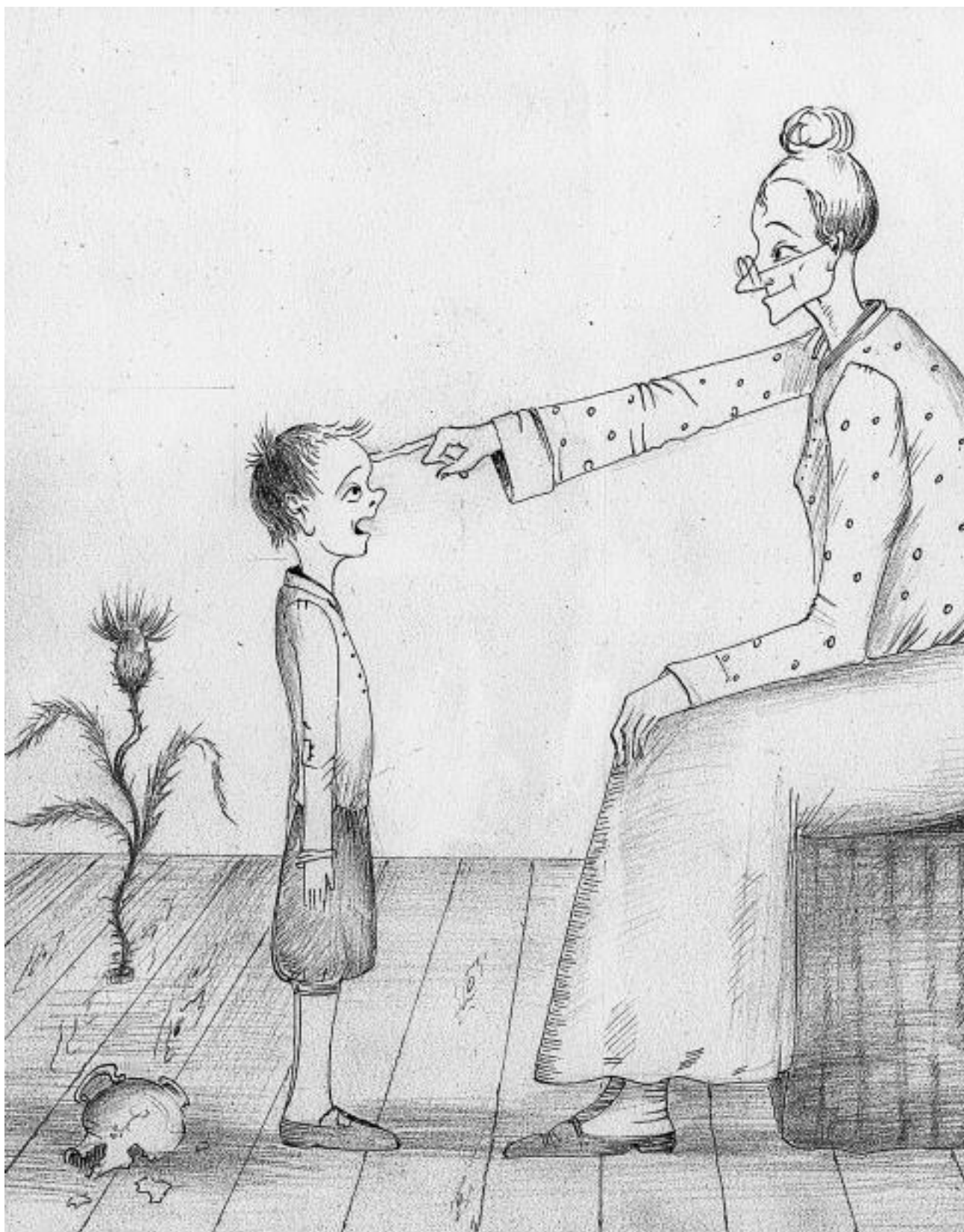
В возрасте лет шести я, после посещения цирка, решил заняться акробатикой. Кое-как научившись прыгать и кувыркаться через голову, решил порадовать успехами бабушку и с криком: “Смотри, как я умею!” – разбежался, кувыркнулся в воздухе и... ногой в ботинке въехал бабушке в глаз! Глаз, к счастью, остался цел, но громаднейший фингал не сходил долгое время. И моя мама перед выходом бабули на улицу тщательно загримировывала результат моего акробатического “антраша”.

С бабушкой мне было спокойно, она пекла для меня ватрушки и сладкие пирожки, а перед сном баюкала, протяжно напевая: “Как у тётушки Ирины да мы украли три перины. А у дядюшки Петра да мы украли да осетра...” Как приятно, засыпая, знать, что у нас теперь и перины, и осётр...

Костяной палец

Приезжая к нам в Кёнигсберг погостить, бабушка обожала с утра до вечера возиться в саду – то с цветочными клумбами, то с огородными грядками, на которых она выращивала укроп, огурцы и помидоры. Ковыряясь в земле, выпалывая и выдёргивая сорные травы, уколола колючкой чертополоха средний палец на правой руке. Он поболел, поболел и вдруг стал утоньшаться и сохнуть, а через месяц на её руке торчал несгибающийся перст, состоящий из обтянутых кожей суставов.

Полковой хирург предложил бабушке ампутировать палец, ставший бесполезным и только мешающим. “Руку уродовать не дам”, – заявила бабуля, сочтя, что костяной перст её руку не портит, и до конца своих дней оставалась с пальцем, которого мы, де-ти, боялись, поскольку бабушка использовала негнувшийся и не чувствующий боли палец для наказания провинившихся.



Напроказничавший должен был встать перед бабушкой, держа руки по швам, и получить порцию болезненных тычков костяным пальцем в лоб, отчего на лбу вспухала солидная шишка.

Как потом выяснилось, перед входом советских войск немцы обливали землю в садах какой-то химической гадостью, которая могла проникать в некоторые из видов растений.

Бабушка, в шкафу лежащая

В один из приездов в Ленинград я, шестилетний, на целый день остался один с бабушкой. С утра она занялась стиркой, потом собралась вешать бельё и стала натягивать верёвку для сушки от стены до большого платяного шкафа. Вбив один гвоздь в стену, а другой в стенку шкафа, решила проверить её прочность и, уцепившись обеими руками за верёвку, на несколько секунд повисла на ней... В этот же момент шкаф под весом её тела стал наклоняться, дверцы его открылись, и он упал прямо на бабушку, поглотив своим нутром.

Можно представить мой ужас, когда на месте, где только что стояла моя бабушка, лежал шкаф. “Бабушка! – истошно заорал я. – Где ты?” И из-под шкафа, вернее из его глубины, донёлся спокойный, но грозный голос: “Тихо. Не кричи. Никуда не выходи и никого из соседей не зови. Я в порядке. Всё хорошо. Сядь на стул и смотри книжки. Будем ждать, когда вернётся с работы Пепа, он поможет”. (Пепа – так домашние звали второго мужа моей бабушки, Петра Савельевича.)

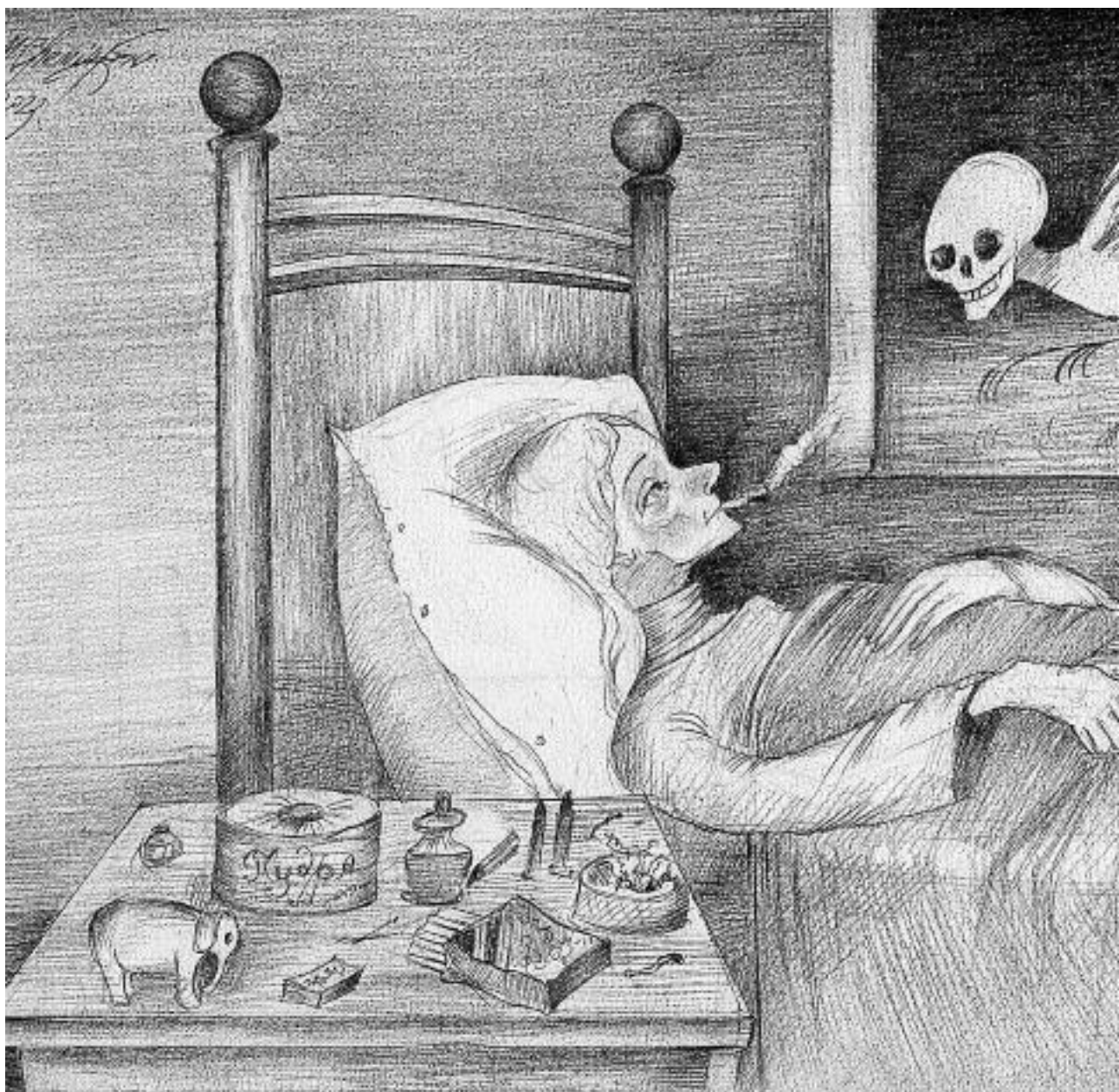
И вот весь день я в слезах сижу на стуле рядом с бабушкой, тихо лежащей в темноте шкафа среди пиджаков и платьев и запаха нафталина. “Бабушка, – тяну я сквозь слёзы, – ты как?” И голос из шкафа отвечает мне: “Всё хорошо, сиди тихо”.

Наконец в семь часов вечера дверь открывается и в комнату входит Пепа. “Где бабушка? Что случилось? – с тревогой спрашивает он меня, обводя глазами комнату. – Маруся! Ты где?” И спокойный голос из шкафа: “Пётр, я здесь. Подними шкаф”.

Что беспокоило бабушку перед смертью?

Бабушка понимала, что она уходит, но не это её тревожило. Марию Памфиловну волновало, как она будет выглядеть в гробу.

Умирала она не в больнице, а в стенах той комнаты, в которой прожила много-много лет.



На небольшом столике у её кровати кроме пары книг и папирос со спичками лежало несколько тюбиков губной помады разных оттенков, две пудреницы и баночка с румянами. Она не капризничала, не ворчала, мало говорила, читала книги или газеты и много курила, не обращая внимания на возмущённые крики обеспокоенных дочерей вроде: “Мама! Врачи же тебе запретили!” или “Мама, ты же знаешь, что у тебя за болезнь!”

(Мария Памфиловна знала, что умирает от рака горла, но даже когда в одно печальное утро её обнаружили бездыханной, она держала в окоченевших пальцах потухшую папиросу, не донесённую до рта.)

Каждый раз, когда я приходил навестить её и садился у кровати, она давала очень важные для неё наставления. “Вот видишь этот тюбик с темноватой губной помадой – именно ею должны подкрасить мне губы, когда я буду лежать в гробу. Пойми, дорогой внук, твоя бабушка должна и мёртвой хорошо выглядеть. Я тебя прошу не забыть, что щёки нужно чуть-чуть, ну самую малость, подкрасить из вот этой баночки. Ты всё понял? Всё запомнил? Да, и припудрить лицо из левой пудреницы. Не забудь!”

Да, я всё запомнил, и бабушка, как говорят в народе, лежала в гробу как живая.

... Я никогда не забывал её, мою бабушку, удивительные гряды цветов, которые она выращивала на даче, коллекцию фарфоровых слоников, расставленных по росту на комод. Сладости, ею приготовленные, обильно посыпанные сахарной пудрой. И главное – её любовь и доброту. В память о ней у меня в записной книжке хранится стишок, посвящённый ей:

Здравствуй, бабушка моя,
Сахарно-пудрёная!
Едешь в детском сне ко мне
На фарфоровом слоне.
Пропоёшь мне про перины,
Что украли у Ирины,
А затем про осетра,
Что украли у Петра.
С наворованным добром
Крепко спится мне потом.

Ранние годы

Моё появление



Я родился в мае 1943 года. Зачат был на фронте, в 1942 году. Отец командовал кавалерийским полком, мать, будучи его женой, служила в этом же полку санинструктором, участвовала вместе с мужем в боях и была награждена боевыми орденами и медалями. И именно этим двум людям в перерывах между боями было суждено сотворить чудо – зажечь новую жизнь.

И в конце апреля 1943 года мою мать везёт на санях адъютант отца с линии фронта в Москву, где в роддоме имени Грауэрмана, расположенном на Арбате, должен был родиться её сын. Но прежде случилось происшествие, которое могло оборвать ещё и не совсем начавшуюся жизнь младенца в чреве матери.

Поздней ночью в полной темноте адъютант задремал, сани с женщиной на сносках опрокинул военный грузовик, и моя мать вылетела из саней, которые были тут же раздавлены колё-

сами машины. Испуганные лошади понеслись в степь, таща за собой искалеченные сани, а насмерть перепуганный адъютант бросился помогать лежащей без сознания в снегу матери. На этом же грузовике её довели до ближайшей деревни и уложили в избе на кровать. Прибежавшая повитуха, осмотрев мать, решила, что младенец в утробе помер, но я-то был жив, просто на четыре дня решил затаиться.

Мать рассказывала мне о смешном эпизоде в этой не очень весёлой истории.

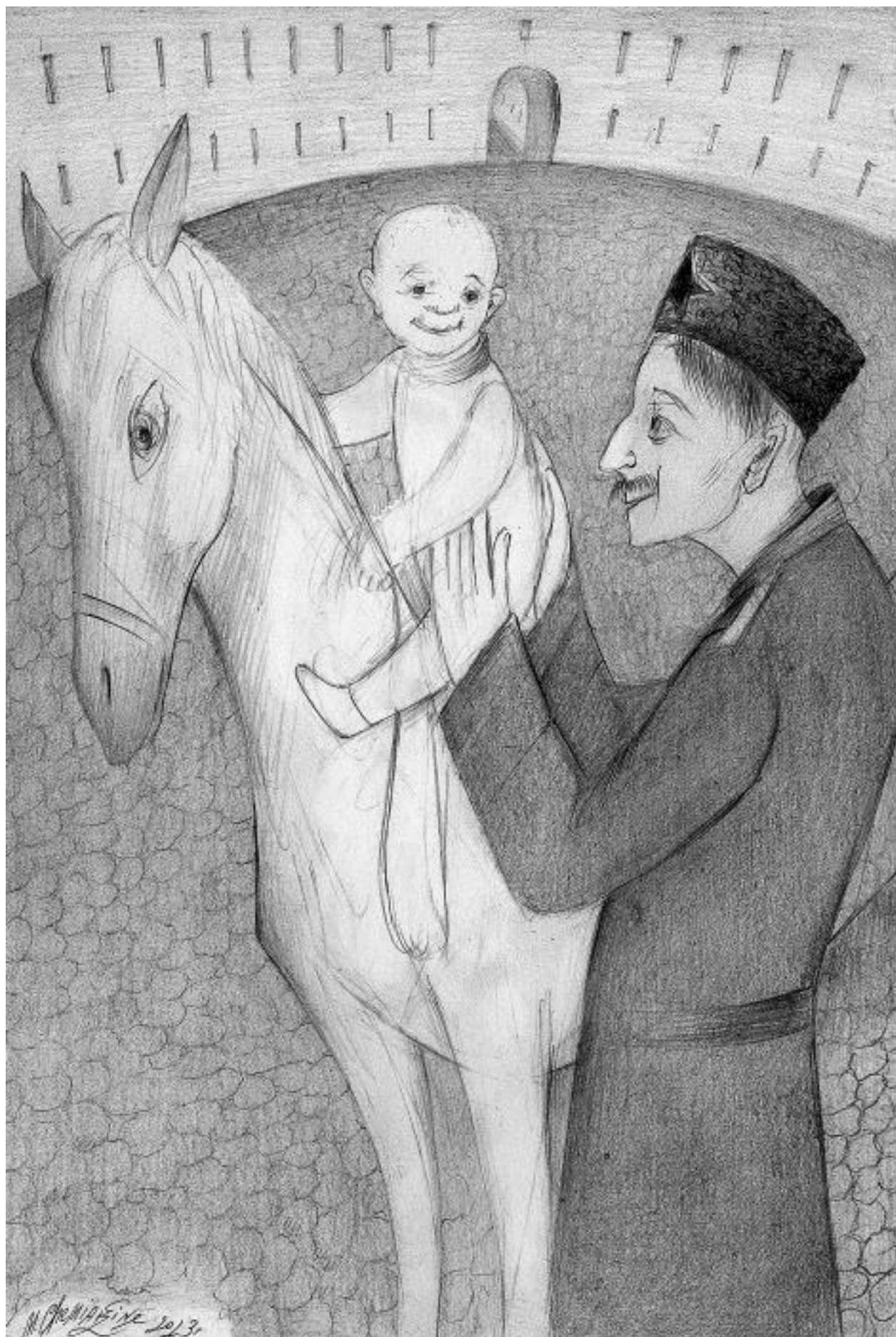
Среди ночи она очнулась, вспомнила происшедшее, оглянулась и в полумраке избы, освещаемой керосиновой лампой на маленьком столике, увидела сидящего рядом с ней адъютанта – украинца Степана, по щекам и усам которого катились крупные слёзы. “Тебе меня жалко?!” – тихо спросила мать. “Ни, мне себя жалко. Полковник зарубит”, – ответил, не переставая лить слёзы, Степан.

А на четвёртый день к вечеру ударом ноги в стенку живота мамы я объявил, что жив. “Живой! Живой!” – орал обезумевший от радости Степан. И через пару дней моя мама, доведенная на военном грузовике в роддом, лежала на больничной койке, ожидая моего появления.

Когда нас выписали из больницы, поселили в одну из московских коммуналок, куда приехали моя бабушка и мои молодые тётушки. А вскоре на пару дней прибыл с фронта отец, чтобы взглянуть на сына и совершить обряд посвящения в джигиты.

И вот рано утром во дворе московского дома раздался цокот копыт и верхом на холёном коне появился мой отец. Спешившись, принял из рук матери меня и поднёс к голове коня, который стоял смиренно и только поводил большим глазом. Я радостно заверещал и потянулся к нему. “Он будет настоящим джигитом!” – громко воскликнул отец, обернувшись к матери, и, водрузив меня на седло, придерживая рукой, трижды провёл коня по кругу, сопровождаемый удивлёнными взглядами жильцов дома, высунувшихся из окон. Так я стал джигитом.

... Человек обычно начинает осознавать себя и помнить где-то с четырёх лет. Некоторые – и с более раннего возраста, это необычные люди. Но у каждого остаются в памяти странные клочки, обрывки каких-то воспоминаний из ещё совсем неразумных младенческих лет. Это могут быть части предметов или тела, звуков и даже запахов.



В моих обрывочных младенческих воспоминаниях осталась пронзительная синева неба, на фоне которого проплывают угольные чёрные сучья деревьев, и громадный глаз лошади, неподвижно глядящий на меня. А из звуков – давящая тишина, сменяющаяся рёвом и гулом не то машин, не то самолётов, и раздирающее ушные перепонки воронье карканье, заставляющие меня надрывно кричать и плакать.

Кто я! Кто? И куда меня везут?

Охраняемое законами природы ещё не сформировавшееся сознание младенцев не загружается запоминанием образов и событий, поэтому о своём раннем детстве ты узнаёшь из рассказов родителей и близкой родни. Из всех рассказов я понимал, что меня постоянно куда-то возили – из Москвы, затем в прифронтовые города и посёлки и наконец привезли в Кёнигсберг.

Беспокойное детство

Так оно мне и запомнилось, моё беспокойное детство. Прежде всего тем, что у нас никогда не было дома. Мы постоянно куда-то переезжали, из города в город, из одной страны в другую, иногда опять возвращались в покинутые места. Запомнилось запахом кирзовых сапог, начищенных гуталином, смешанным с запахом бензина. Жаром от нагретого мотора, в котором плывут эти запахи. Я лежу, свернувшись калачиком, у сапог шофёра военного грузовика. Мне тепло и дремотно. У моей головы солдатские сапоги время от времени нажимают на торчащие педали тормозов. Спереди и сзади урчат и воняют выхлопными газами военные грузовики с солдатами в кузовах. В одном из грузовиков сидят мать с отцом.

Грузовик останавливается, я выкарабкиваюсь из кабины и наконец-то дышу не бензином, а чистым воздухом. Весенняя прохладная ночь, вокруг сосны. Отец, мама и несколько офицеров вылезли из грузовиков и о чём-то совещаются. Затем мама берёт меня за руку, и все вместе идём к расположенному невдалеке зданию, в окнах которого горит свет.

Большой зал со столами, покрытыми скатертями и расставленными вокруг них стульями, пуст. Офицеры, пришедшие с отцом, рассаживаются. Я с мамой и папой сажусь за отдельный столик. Обслуживает всех один официант. Через короткое время передо мной ставится тарелка, на которой лежат две тонюсенькие сосиски в окружении зелёного горошка. Немецкая горчица, которой мама намазала мне сосиску, к удивлению, оказалась совсем не горькой, а душистой и чуть сладковатой, и отсутствие в ней горечи мне не понравилось.

...Мы с мамой привыкли “сидеть на чемоданах”. И выражение “чемоданная жизнь” – это как раз про нас. Именно поэтому, я думаю, мне не удавалось обзавестись друзьями и я привык к одиночеству.

Всплывают обрывочные кадры. Окраина захолустного городишки. Мы останавливаемся в каком-то двухэтажном доме. Кроме нас – никого. Воскресный день. Отец с матерью спят, отправив меня “погулять” около дома.

Я один, вокруг ни души, унылый пейзаж, тусклый осенний день. У дома стоит большая деревянная бочка, полная дождевой воды. Вечером мама будет мыть этой “мягкой водой” свои роскошные волосы. Я бесцельно хожу около дома, не надеясь хоть кого-то встретить. Папа с мамой будут спать ещё долго, и мне “гулять” часа два-три. Скучно. Я пытаюсь найти себе какое-то занятие, развлечение. Но это не Кёнигсберг, нет оскаленных черепов, немецких штыков, патронов и непонятных предметов. Только несколько кирпичей да доска с торчащим из неё гвоздём. И я, вздыхая, опять кружу вокруг дома... Наверное, это было самое первое и острое чувство одиночества.

Однажды мы остановились в домике стрелочника. И я, опять же отправленный погулять, бреду по шпалам заброшенной железной дороги, вдыхая запах мазута, старого дерева и леса, тянущегося с двух сторон вдоль бесконечного железнодорожного полотна. Я совсем один, тишина, и я куда-то иду и иду, и мне хорошо. Моя детская душа наполняется блаженным покоем.

А на следующий день опять забираюсь в кабину грузовика, привычно сворачиваюсь у ног водителя и засыпаю. И мы опять едем и едем...

Иногда, когда машина останавливается, мы ночуем в каких-то полузаброшенных общественных зданиях.

Дольче Вита

Мишка очень любит мёд!

Почему? Кто поймёт?

Борис Заходер. Песенка Винни-Пуха

Полковник Шемякин любил баловать маленького сынишку. Часто он притаскивал подарки. Один раз принёс большущую банку мёда, другой – большую коробку с немецким шоколадом. И каждый из этих подарков вышел ему боком, а мне животом. И если бы не хороший полковой врач, то сладкая жизнь могла закончиться плохо.



Ночью, когда родители спали, я тайком умудрялся пробраться на кухню и в течение ночи съесть весь мёд в первый раз и слопать весь шоколад – во второй. Утром “засахаренного” сына родители обнаружили лежащим у пустой банки из-под мёда в ужасном состоянии. От сильнейшей передозировки сладким тело покрылось сыпью, поднялся жар, и, поскольку с головы до пят я измазался мёдом, маме с перепугу показалось, что мёд стал проступать сквозь поры моего тела. В ещё худшем состоянии я лежал у опустошённой коробки из-под шоколада, поскольку от кофеина подскочило давление, и военврачу пришлось изрядно со мной повозиться.

После этих историй кухня на ночь запиралась на замок.

Маленький сквернослов

*Дети редко перевирают наши слова.
Они удивительно точно повторяют всё то,
чего нам не следовало говорить.*

Неизвестный автор

Южный городок у Чёрного моря. Летний солнечный день. Пляж из гальки. У берега моря сидит маленький мальчик, рядом с ним жестяной тазик, который он заполняет круглыми камушками. Таз уже полный, но мальчик упрямо насыпает камушки, они падают, рассыпаются. Чудесных камушков так много, они все такие разные, такие красивые! И надо собрать и забрать все! Мальчик снова кладёт камушки в тазик, они ссыпаются, падают, мальчик снова кладёт камушки в тазик, и они падают, он снова кладёт, и снова падают. От огорчения мальчик безутешно плачет.

Пожилая дама интеллигентного вида подходит к мальчику, наклоняется над ним и ласково спрашивает: “Почему же такой славенький милый мальчик так горько плачет?” Мальчик поднимает к ней зарёванное личико и громко кричит: “Иди ты к ибени матери!” Шокированная дама оглядывается на близлежащих под солнцем мужчин и женщин и вопит: “Чей это мальчик?! Кто его родители?!” Близлежащие молчат, и возмущённая женщина бежит дальше, негодующим голосом вопрошая: “Чей это мальчик?”



Мальчик, желающий унести с собой все камни черноморского побережья, – это я. Мои мама и папа лежат в двух метрах от меня и не хотят признаться, что этот маленький сквернослов – их сын. Мать поворачивается к отцу и с укором в голосе говорит: “Это ты виноват, что он растёт у нас таким. Это твои слова он повторяет”. Отец, не поворачивая головы, произносит: “Перестань, Юлечка, ерунду пороть. И вообще, иди к ебене матери!”

Я, генерал и горчица

Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как мы ведём себя дома.

Неизвестный автор

Летний вечер. Ресторан для высших чинов Советской армии. Несколько длинных столов посередине большого зала накрыты белыми скатертями, свисающими до пола. На столах столовые приборы, графины с водой.



Полковник Шемякин в парадном кителе, с принаряженной женой, она держит за руку маленького сына, они входят в зал с офицерами и генералами. Неожиданно сынок полковника вырывает свою руку из маминой и бежит вперёд, мимо накрытого стола, хватая руками край скатерти и несётся дальше, увлекая её за собой. Хрустальные графины, рюмки, стопки, солонки, горчишницы, перечницы, вилки, ножи, ложки со звоном и шумом летят на пол. Шум и гам по душе ребёнку, он громко смеётся, падает на паркетный пол и с довольной физиономией лежит среди учинённого им безобразия. Пожилой генерал в белом кителе, украшенном орденами колодками, наклоняется к мальчику с целью поднять того с полу, но маленький шпанёнок, схватив рукой рядом валявшуюся горчишницу, запускает её в генерала, заляпав жёлтой жижей генеральский мундир.

На следующий день моему отцу в вежливой форме было предложено не утруждать себя с семьёй походами в ресторан – завтрак, обед и ужин будут доставлять в номер гостиницы.

Стремление проникнуть в суть вещей

Есть люди-совы, и есть люди-жаворонки.

Народное

Я – ночная птица, и это проявилось у меня в раннем детстве. Ночью совершал набеги на кухню в поисках сладкого, ночью, пока спят мама с папой, по-своему стремился разгадать суть вещи, накануне подаренной отцом.

Как-то отец привёз и установил на полу моей комнатки игрушечную железную дорогу, состоящую из поездов, паровозиков, светофоров... При помощи батареек поезда бегали по рельсам. Всё было по-немецки добротное и добросовестно сделано, спаяно, свинчено.

Вылезши ночью из кровати, я умудрился пальцами развинтить и разобрать до малейшей детали все поезда, паровозы, вагоны, семафоры и даже рельсы со шпалами. Даже если бы в моей комнате и оказалась отвёртка, я всё равно бы не понял, как ею пользоваться.

Утром отец, не веря своим глазам, стоял перед сидящим на полу сыном, вокруг которого были разложены детали железной дороги. Потрясённый, он тут же пригласил своих друзей офицеров посмотреть на “творение” его сына. Действительно, невозможно было понять, каким образом двухлетнему малышу удалось это сделать.

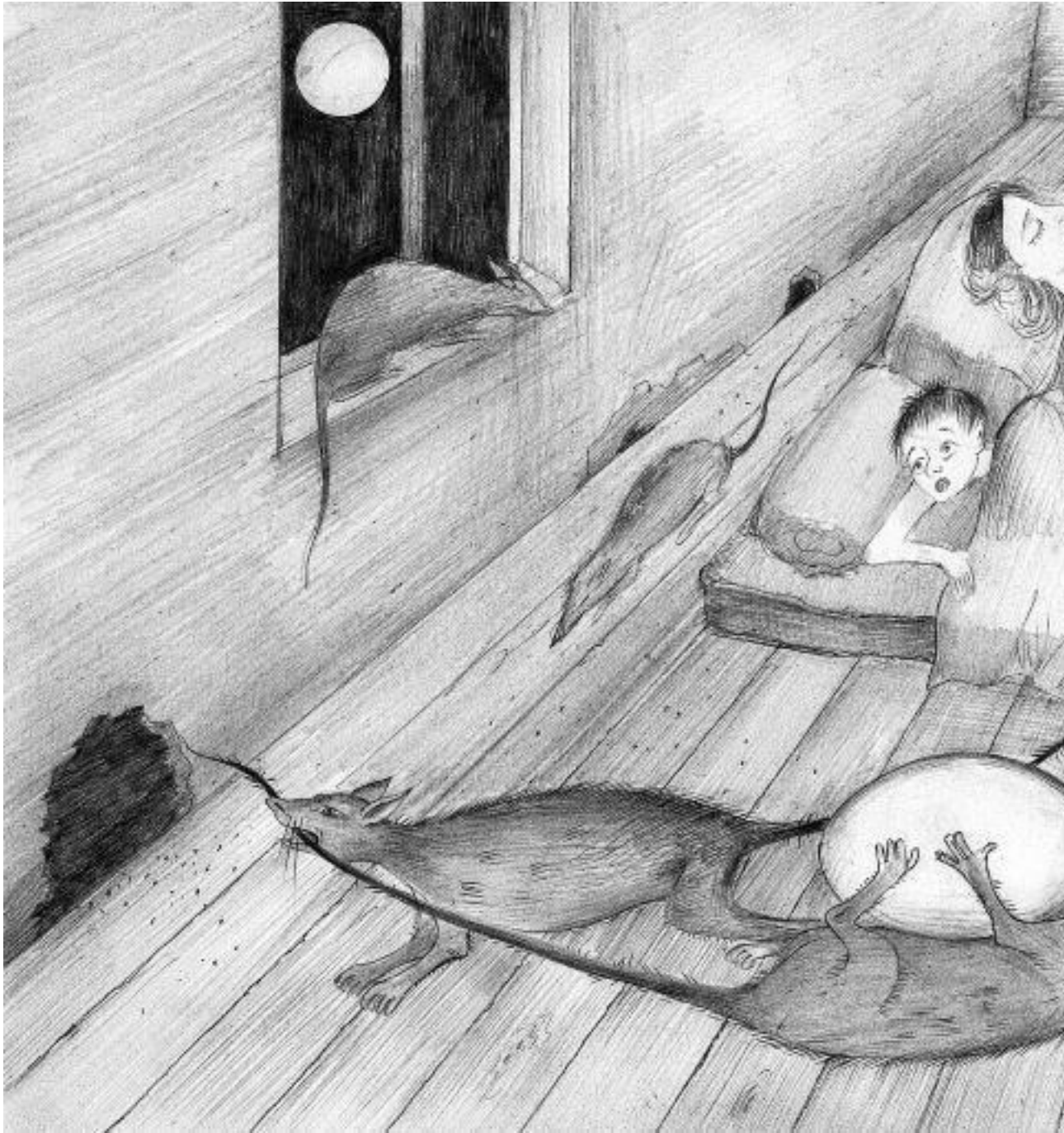
Пройдут десятилетия, и я буду “развинчивать” на сотни деталей картины старых мастеров. Анализировать каждую мелкую деталь в известных и малоизвестных полотнах, стремясь проникнуть в тайну творения, в его суть. И на базе этих анализов будет создана исследовательская лаборатория философии и психологии творчества.

Почему я уважаю крыс

Моё уважение к крысиному народу родилось в ту незабываемую ночь, когда я и мама лежали укрытые солдатским одеялом и молча смотрели, как семейство большущих крыс расправляется с офицерским пайком, разложенным на столе.

Отец с вечера уехал в штаб, оставив маму и меня ночевать в огромном пустующем помещении клуба самодеятельности. Адьютант отца, принёсший нам паёк, соорудил на полу подобие постели и, пожелав доброй ночи, уехал.

Среди ночи я был разбужен каким-то шебуршением и поскрёбыванием. Комната была залита мертвенным лунным светом, а по полу и по стоящему метрах в шести от нас столу сновали крысы.



Я хотел разбудить маму, но, повернувшись к ней, увидел, что она не спит, а, прижав палец к губам, показывает, чтобы я молчал. И мы с ней, затаившись, смотрим, как серые хвостатые существа, похрустывая, уничтожают наши съестные припасы.

Добравшись до корзины с яйцами, они достают их одно за другим и катят по столу к краю, яйцо падает, но не разбивается, потому что у стола лежит сверху животом толстенная крыса и оно прямёхонько падает ей на живот, а она крепко обхватывает его передними и задними лапками. И в этот же момент рядом находящаяся крыса хватает зубами её хвост и тащит через всю залу в угол, и обе исчезают в чернеющей в нём дыре. Одно яйцо, второе, третье... Все они, “приживотившись”, совершают тот же путь.

Часть крыс активно “трудится” над хлебом, слобными сухарями, макаронами и вермишелью. Я с ужасом думаю, что наверняка моим любимым мятным пряникам и кусковому сахару придёт конец. А паёк выдаётся раз в месяц, и я буду жить без кусков рафинада неправильной формы и разной величины, без окаменелых мятных пряников, которые становятся такими

мягкими, если подержать их в горячем чае. “Ну не трогайте их”, – мысленно обращаюсь к этим серым существам, пускаю слезу и засыпаю, обняв маму.

Чуть свет я вскакиваю с “кровати” и бегу к столу. Он весь усыпан крысиным помётом, перемешанным с макаронно-вермишелевой трухой и крошками хлеба. А среди этих следов крысиного разбоя два разорванных пакета... в одном нетронутый колотый сахар, во втором нетронутые мятные пряники.

Страх моей мамы перед крысами был понятен: в военное время бывали случаи, когда полчища голодных крыс напали на людей и загрызли их.

Спустя десятилетия “крысиное общество”, нарисованное мною для балета “Щелкунчик”, будет вызывать восторженные аплодисменты в Европе и Америке. Русские музыкальные критики назовут меня “королём крыс”, а дети в Париже будут кричать мне, когда я выйду на сцену: “Месье?! А почему так мало крыс?!” И в Санкт-Петербурге Императорский фарфоровый завод выпустит сделанный по моим эскизам чайный сервиз “Крысята-воришки”. А в балете “Волшебный орех”, поставленном по моему либретто на сцене Мариинки, один из крысят-воришек протащит за хвост другого крысёнка, поддерживающего лапками куриное яйцо, лежащее у него на животе. Так я отблагодарил крысиный народ, пожалевший меня и не лишивший любимых сладостей.

Детские годы в Кёнигсберге и вокруг

Фрау Берта, Хильда и доктор Геббельс

Послевоенная Пруссия. Кёнигсберг лежал в руинах. Мы с родителями и сестрёнкой Танюшей жили в пригородном доме, стоящем посреди довольно большого сада с фруктовыми деревьями и кустами малины и крыжовника. Дом кирпичный, двухэтажный, со множеством комнат, которые вскоре стали заполняться приезжающими погостить маминими родственниками во главе с любимой бабушкой.



В доме всё было немецкое: мебель, посуда, занавески... Всё было брошено людьми, которые жили здесь совсем недавно. В прислугах у нас работали две немки. Мать с дочерью. Мать – худая, высокая, рано состарившаяся женщина. Звали её фрау Берта, имя семнадцатилетней дочери было Хильда. Наняли их, потому что Хильда владела русским языком.

Фрау Берта в качестве няньки была “прикреплена” ко мне. Была она со мной доброй и ласковой и чем-то напоминала мою бабушку. Appetit у меня был неважный, и я пространно и долго пытался объяснить не говорящей по-русски фрау Берте, почему я не хочу каждый день есть гречневую кашу, приправленную маргарином, или невкусный кисель из крахмала. Из-за этих речей она прозвала меня Геббельсом. “Доктор Хэбелс, битте эссен”, – усталым голосом повторяла фрау Берта, пытаясь сунуть мне в рот ложку с кашей.

Один раз фрау Берта удивила и озадачила меня. За завтраком я нечаянно или нарочно опрокинул стакан с молоком, оно разлилось большой лужей по деревянному столу. И неожиданно фрау Берта отодвинула в сторону стул, на котором сидел я, и, наклонившись над столом, осушила молочную лужицу губами, вобрав её в себя! Бедная немка, бедная моя няня, она ведь не могла позволить себе купить молока...

Хильда была тощенькой, коротко стриженной блондинкой со злыми серыми глазами. Видимо, отец её погиб на русском фронте или же был убит при вступлении наших солдат в Кёнигсберг, поэтому на русских солдат она бросала злобные взгляды, полные нескрываемой ненависти. Ещё бы! Она должна стирать бельё и мыть полы у оккупантов!

Однажды Хильда, вымыв пол и заслужив похвалу от моей матери, вдруг выпалила: “Странный народ вы, русские! Если бы я была победительницей, а вы побеждённой и мыли у меня пол, я заставила бы вас перемыть его двадцать раз!”

Днём во дворе нашего дома и в саду работали немецкие военнопленные: пилили дрова, чистили сортиры, копались на огороде, ухаживали за яблонями и вишнёвыми деревьями. С утра адъютант увозил отца на зелёном армейском джипе в полк. Мама убежала к офицерским жёнам обсуждать планы создания кружка художественной самодеятельности, а маленький Геббельс с несколькими мальчишками отправлялся лазать по заброшенным особнякам, забираться на чердаки, спускаться в подвалы, находить заржавевшие пистолеты, штыки, каски – да и много чего ещё можно было найти в этих полуразвалившихся строениях...

Мрачное застолье

Исследование подвалов одного из особняков надолго осталось в моей памяти. Побродив по пустым комнатам, над которыми синело небо с торчащими на его фоне обломками балочных перекрытий, мы с мальчишками обнаружили дверь, ведущую в подвал. С трудом открыв её и спустившись по ступенькам, очутились перед другой дверью, почти сгнившей от сырости. А за ней нас ожидал “сюрприз”, от которого мы, постояв несколько минут в оцепенении, бросились по лестнице наверх, взвизгивая от страха, а увязавшаяся с нами маленькая девочка, сестрёнка кого-то из пацанов, с перепугу офурилась.



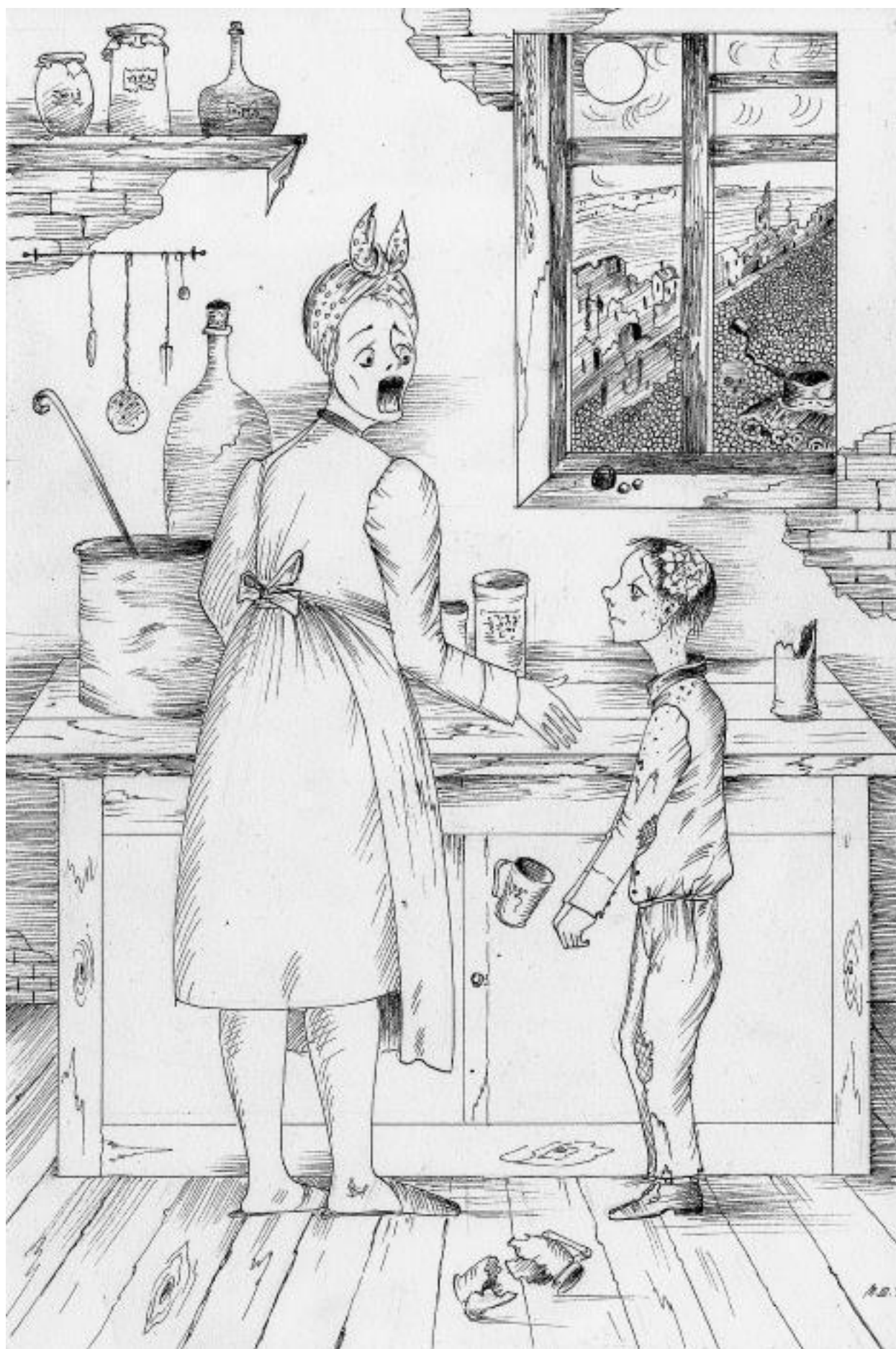
Картина, представшая перед нашими глазами, была следующей. Тусклый свет, струившийся из небольшого оконца, освещал полуподвальное помещение, посередине которого стоял стол с разбросанными по нему проржавевшими пистолетами и сидящими вокруг него людьми, вернее, с тем, что осталось от тех, кто когда-то был живым. На всех были военные мундиры,

покрытые слоем пыли, а из полуистлевших кителей торчали черепа, обтянутые лоскутами коричневой кожи, пялившиеся на нас пустыми глазницами. И этот тяжёлый запах тления...

По всей видимости, эта была группа немецких офицеров, решившихся на коллективное самоубийство в момент вхождения советских войск в Кёнигсберг.

Послевоенные забавы

Одним из развлечений было разыскать валяющиеся то там, то тут патроны и, набив ими карманы, отправиться на пустырь, разжечь костёр, высыпав в него содержимое карманов, отбежать, прилечь за бугром и, затаив дыхание, слушать, как один за другим взрываются от огня патроны. Некоторым не терпелось побыстрее разыскать в костре гильзы и головки от патронов, чтобы потом смастерить себе свистульки... Неожиданно ещё один небольшой взрыв – и... до конца своих дней мальчишка “награждён” стеклянным глазом и будет стыдиться обезображенного ожогом лица и недостающих пальцев.



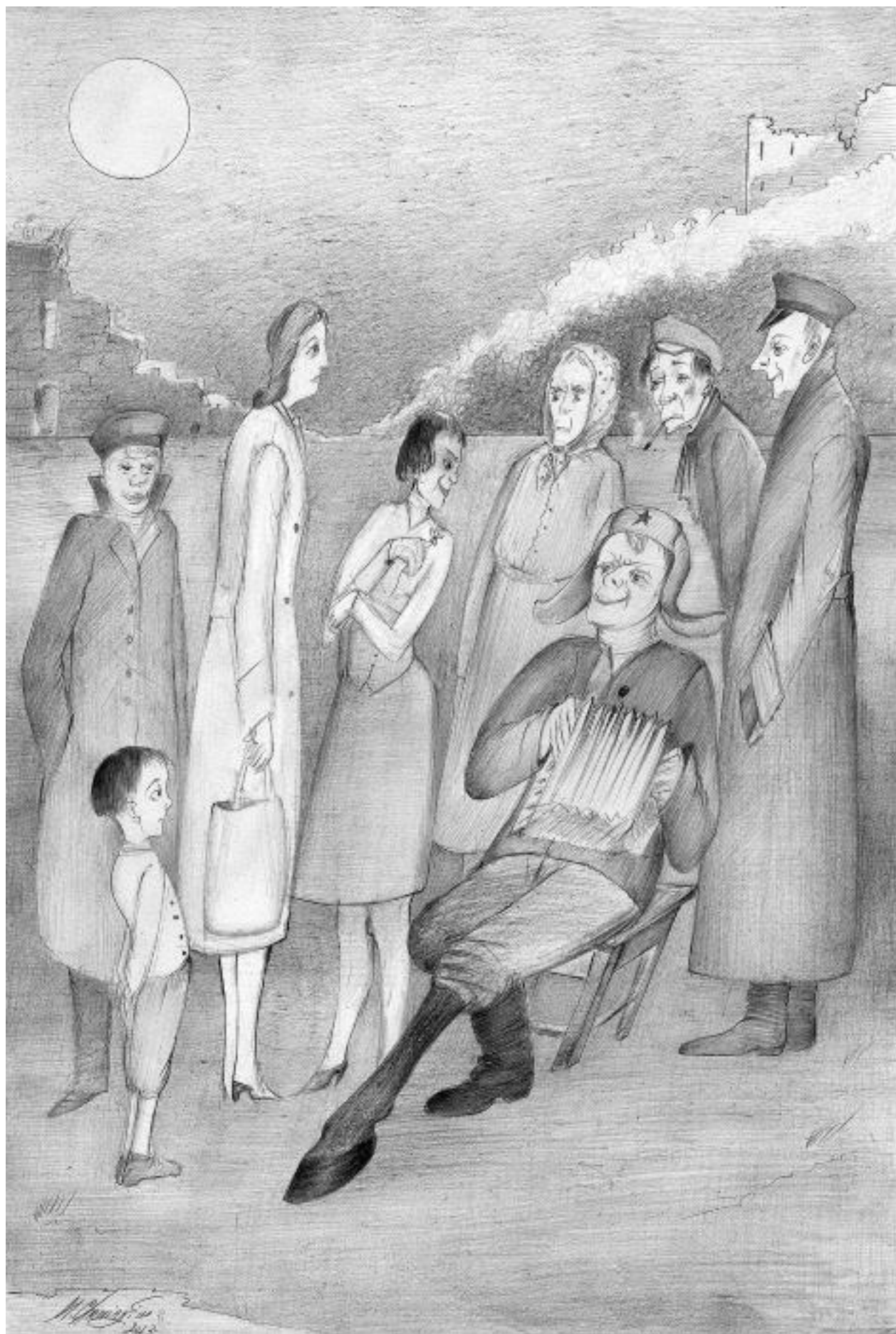
Мальчишеское желание – найти какой-нибудь непонятный предмет, расковырять его по частям – подчас приводило к трагическому концу. Соседский пацан, забравшись с загадочным предметом в стоящий недалеко от дома подбитый немецкий танк, попытался развинтить его... Мать возилась на кухне, когда услышала какой-то шум, а через несколько минут в кухню вошёл её сынок, у которого была снесена часть черепной коробки. “Мама, я очень хочу пить”, – про-бормотал он и, пройдя из кухни в комнату, лёг на диван и тут же скончался. Мать сошла с ума.

Протез инвалида, удививший меня

Чудеса случаются только в детстве.

Владислав Гжегорчик

В километре от нашего дома был рынок, куда я с мамой ходил за продуктами. Тёплым летним днём, пока мама разговаривала о чём-то с торговкой овощами, я отошёл поглазеть на игравшего недалеко аккордеониста, окружённого небольшой толпой слушателей. Он сидел на деревянном ящике в засаленном армейском ватнике, на голову была нахлобучена ушанка. Я решил, что передо мной инвалид, вернувшийся с фронта, поскольку одной ноги у него не было, а вместо неё из ватной штанины торчала громадная лошадиная нога с копытом. Она была коричневатого-рыжего цвета и как-то нагло и бесстыдно вытянута вперёд.



Я подошёл ближе, и мне показалось, что инвалид улыбнулся мне. Я подбежал к матери, которая тревожно озиралась, ища меня глазами, и спросил, почему у играющего инвалида вместо деревяшки лошадиная нога. Но мама, крепко схватив меня за руку, потащила дальше по базару, сказав, чтобы я не говорил глупостей.

Отрубленная голова

Поздний вечер, за окном темнеет. Мать моет меня холодной водой из таза, стоящего на табуретке у окна, я отплёвываюсь от мыльной пены и вижу в окне слабо освещённую громадную голову в каске, на которой нарисована красная звезда. Голова катится вдоль нашего окна, и вот я её уже не вижу. Я верчусь, пытаюсь понять, куда она делась.

“Мама, а почему голова такая большая и почему отрубленная?” И мать, продолжая мыть мне шею и физиономию, говорит, чтобы я перестал фантазировать и живо отправлялся в кровать.



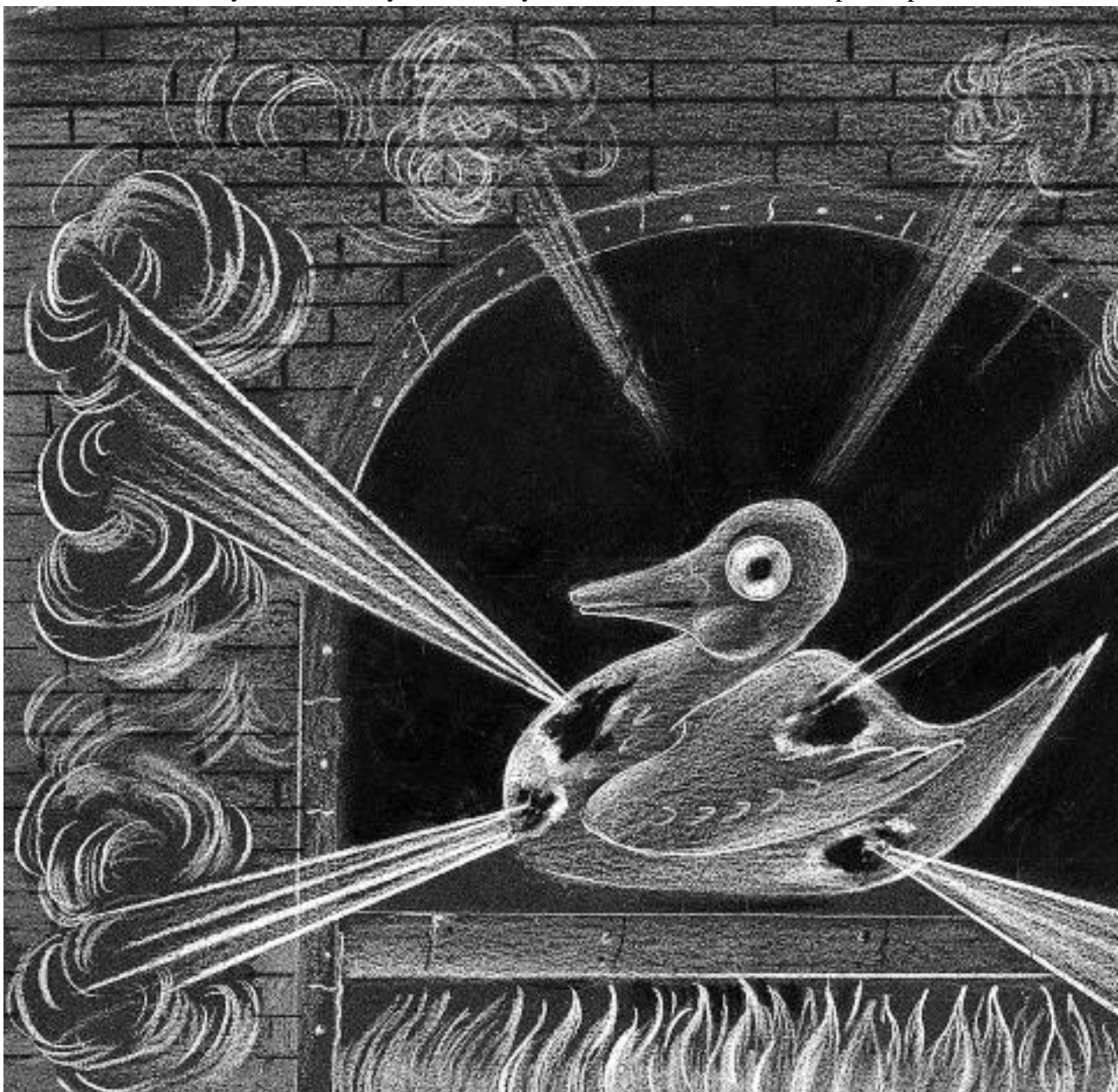
Прошло семьдесят лет, а я чётко вижу эту катящуюся голову красноармейца в зелёной каске с красной звездой, аккуратно обрезанную, исчезающую в темноте двора.

И с той далёкой поры по сей день видения больше меня не посещали.

Неудавшееся жаркое

Из Ленинграда приехала погостить бабушка и подарила мне здоровенную, яркую жёлто-зелёную целлулоидную утку. Мне нравилось, когда утка плавала в большом корыте, в котором меня купали.

Я часто торчал на кухне, наблюдая за маминой готовкой. Еда была самая наипростецкая – в основном борщ, картошка, каша. Но однажды сияющий отец привёз откуда-то гуся и был устроен настоящий пир! Приглашённые офицеры с жёнами ели, пили и танцевали. Из патефона неслись голоса Утёсова, Руслановой, Шульженко. Гусь был съеден, и – снова борщ, картошка...



И вот спустя какое-то время я решил, что пора повторить незабываемый праздник. Печь горела, мама возилась с кастрюлями, а я открыл духовку, обдавшую меня жаром, и, поцело-

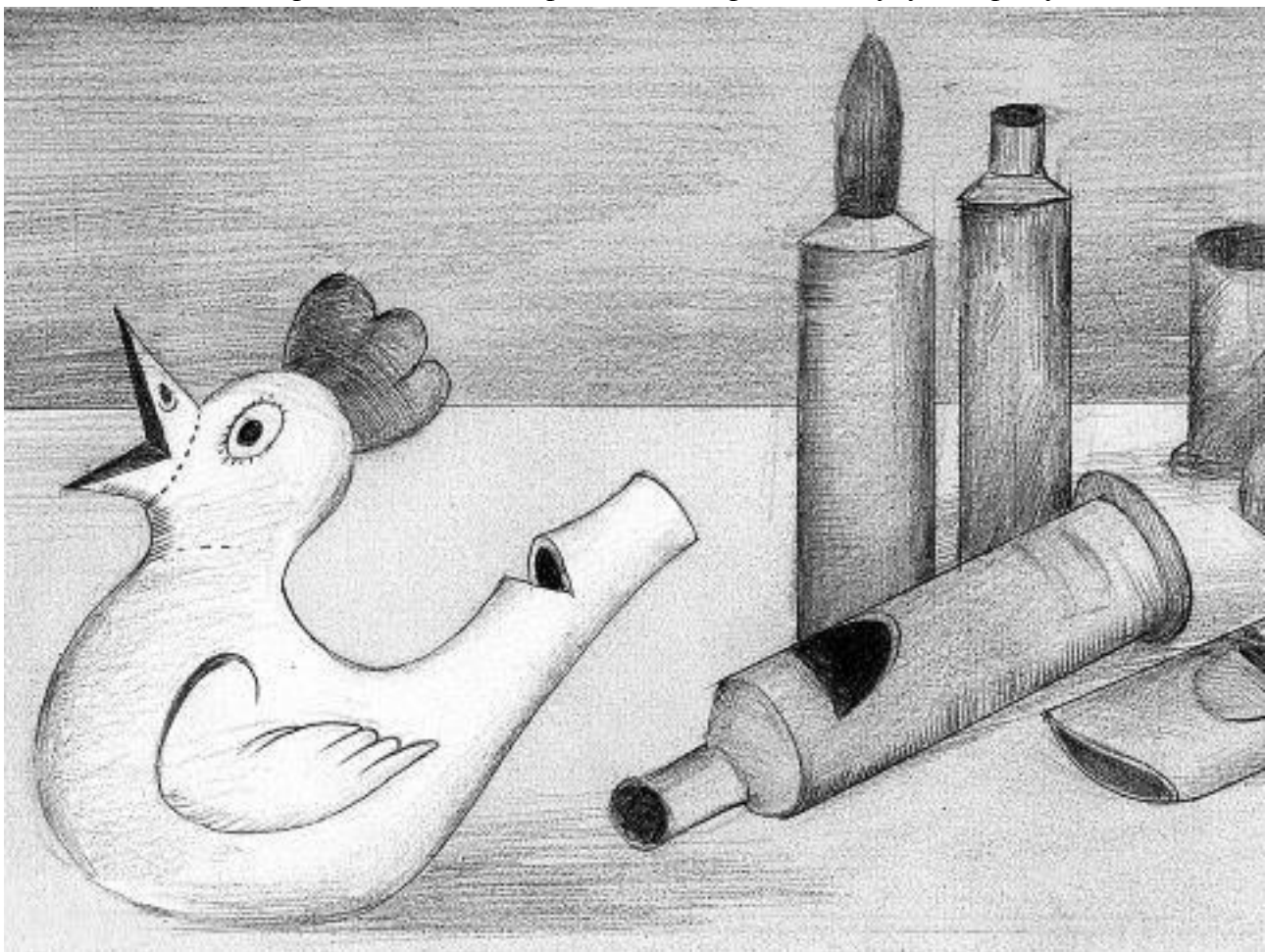
вав любимую утку на прощанье, быстро, пока мама не видит, сунул её в духовку и закрыл на задвижку...

Хорошо, что я в этот момент отошёл от печи, потому что через минуту раздался сильный хлопок и из щелей духовки рвануло пламя. Удушающая вонь горящего целлулоида разнеслась по кухне. Я был расстроен до слёз, не понимая, почему у мамы всё получилось, а у меня – нет.

Послевоенные игрушки

Магазинов для детей, разумеется, не было. И мы сами изобретали и мастерили себе игрушки. Правда, игрушками их было трудно назвать. Рогатки, самодельные пугачи и разных сортов свистульки... Последние делались из головок патронов путём выплавливания из них свинца. Чем больше свистулька, тем громче свист.

Мой отец решил побаловать сынишку неожиданным подарком и, набрав на полигоне разной величины головок, притащил их домой, разложил на противне и сунул в горящую печь.



Время было вечернее, отец с матерью и я восседали за столом в гостиной и ужинали. Отец подмигивал мне и говорил, что скоро я буду обрадован... Как вдруг со стороны кухни раздался сильный взрыв, и оттуда повалил едкий дым.

Оказывается, на противень отец положил несколько взрывных боеголовок, которые и сработали. От печи ничего не осталось, кухню долго тушили. А отец виновато объяснял белой от волнения матери, что он хотел, чтобы у Мишеньки были самые большие свистульки.

Нищенствующая детвора

В послевоенном Кёнигсберге, или, вернее, в том, что от него осталось после кровопролитных боёв и бомбёжек, проживали три категории немцев: пленные солдаты, вдовы погибших и бездомные дети, потерявшие своих близких. Пленных солдат гоняли на восстановительные работы и сносно кормили, а вот вдовы и дети влачили нищенское, голодное существование.

Мне помнится, как рано утром мать впустила в дом молодую исхудалую немку, державшую на руках крошечную истощённую девочку. Женщина плакала и просила молока для неё. Мать схватила бидончик с молоком, налила в кружку и протянула её немке. Но было поздно – девочка уже умерла.

Постоянно в наш двор заходили немецкие бездомные дети, просящие хлеба. Ходили просить милостыню всегда парами, брат с братом или брат с сестричкой. И хоть одежонка на них была рваненькой, истрёпанной, но выглядела опрятной, личики были умыты, а волосы причёсаны. И тем не менее они, трогая ручки наших дверей, заразили меня и мою сестрёнку Таню чесоточным клещом, что принесло нам немало мучений, а маме – забот и хлопот. Зуд по всему телу, зуд между пальцев рук и ног. И тело расчёсывалось до крови. И каждый вечер перед сном в течение долгого времени мать натирала нас с ног до головы липкой густой мазью со специфическим мерзким запахом.

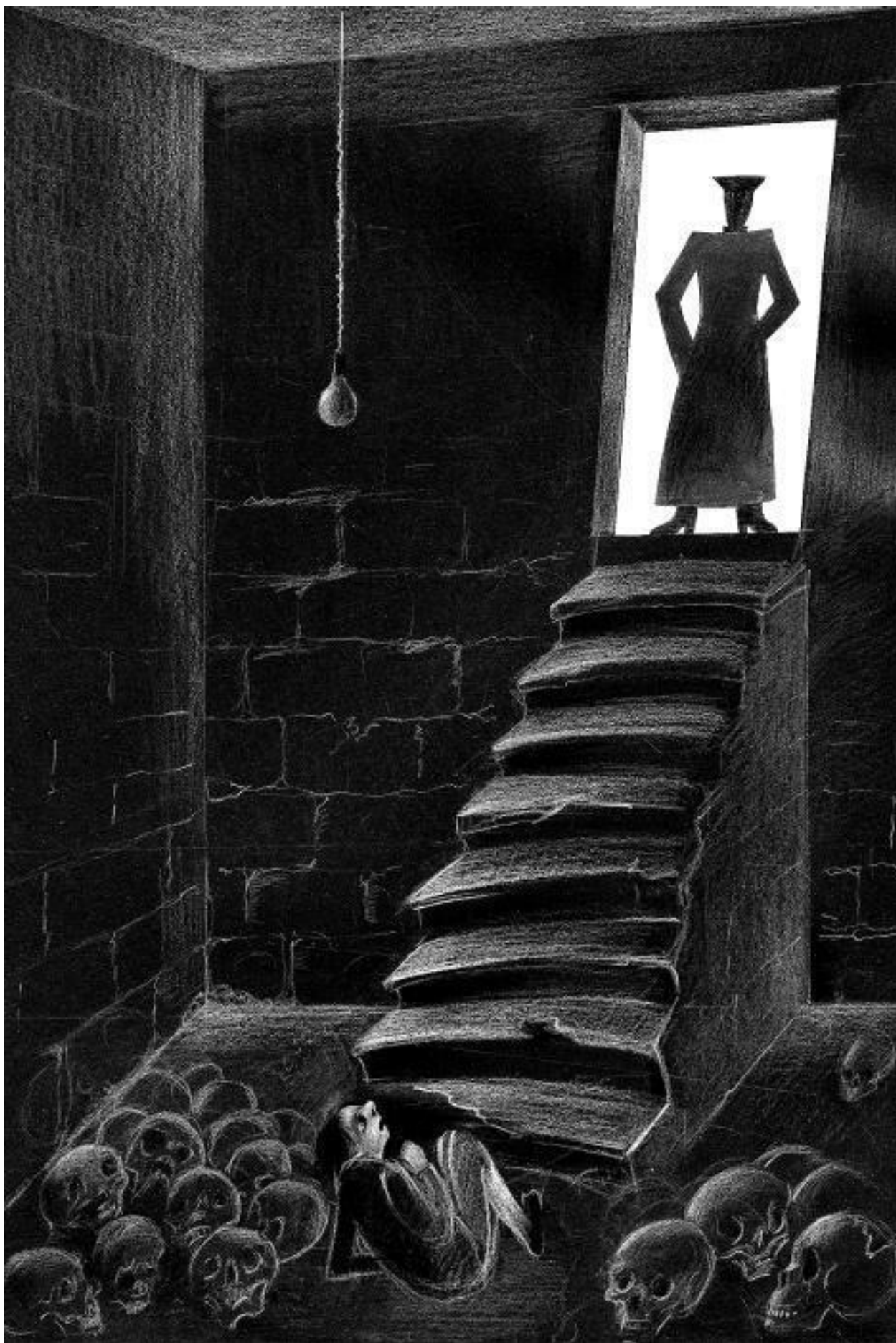
Но как-то раз эти маленькие немецкие чистюли поразили меня, когда я с мамой брёл по рынку между рядами с сушёными фруктами и жёлтый сморщенный абрикос упал с прилавка на землю. Пыли было так много, что сухофрукт нырнул в неё. И несколько немецких мальчишек бросились на колени, и стали шарить ладонями в пыли. Один из них, вытащив фрукт из грязи, тут же съел его. Я хорошо запомнил тот найденный абрикос, он был серого цвета от налипшей на него пыли.

Мой чистюля отец постоянно твердил, что всё покрыто заразными микробами, всё надо мыть, обдавать кипятком, прежде чем съесть. И я стал панически бояться невидимого микроба, затаившегося повсюду. Я спросил маму, почему немецкие дети не боятся микробов и едят грязное и немытое. Мама почему-то мне ничего не ответила.

Сны моего детства

Из детских снов мне отчётливо запомнились лишь два.

Сон первый. Незнакомый мне большой каменный дом. На отце поверх мундира надета длиннополая шинель, на голове фуражка. Он молча ведёт меня по комнатам. Светло, и я, проходя сквозь вереницу комнат, не замечаю ни одной живой души. Дом пуст. Отец подводит меня к двери, открывает её, и я вижу за ней длинную лестницу, ведущую в подвальное помещение. Отец толкает меня, и я скатываюсь по ней и лежу, растянувшись на человеческих черепах, которыми заполнен весь каменный пол. В пролёте двери виден чёткий силуэт стоящего отца. Дверь захлопывается, и я остаюсь в полной темноте наедине с черепами.



Сон второй. Унылый серый осенний день. Я сижу в трофейном “мерседесе” на переднем сиденье рядом с отцом, он правит машиной. По окнам машины хлещет дождь. Душа у меня сжимается от какого-то тревожного предчувствия. Мы мчимся по асфальтовому шоссе, за окном проносятся заброшенные поля, разрушенные немецкие домишки. Неожиданно всё время молчавший отец спрашивает меня, не поворачивая головы: “Знаешь, куда я тебя везу? Хочу тебе показать место, где я зарыл твою маму”. Окаменевший от ужаса, я молчу. И мы с отцом в полном молчании мчимся дальше по безлюдному шоссе.

Детские шалости

Кроме моей бабушки приезжали к нам в Кёнигсберг две её младшие дочери, рыжеволосые Валентина и Лариса, приходящиеся моей маме сводными сёстрами. С младшей – Ларисой, которую я окрестил Наткой, мы топали через заброшенные прусские поля к гарнизонной кухне, где нам выдавали часть армейского сухого пайка в виде гречневой или овсяной крупы, насыпанной в небольшой холщовый мешок, который я, гордый доверием взрослых, торжественно нёс на плече. Натка шагала рядом, изредка отбегая недалеко от меня, чтобы сорвать понравившиеся ей васильки и ромашки, из которых потом плела себе венки и носила их на рыжих волосах до полного увядания. А старшая её сестра Валентина, прозванная мною Лясиком, обожала возиться со мной с самого раннего детства, которое начиналось в московской коммуналке, куда с фронта иногда умудрялся прилетать отец.

В памяти моей остался один эпизод, связанный с приездом моей рыжей “тёти” Натки.

Солнечный летний день. Наш сад. Большие яблоневого дерева с яблоками разных сортов – помню антоновку и белый налив. Первые зелёные, твёрдые и кисло-сладкие, вторые жёлтые, ароматные, рассыпчатые и сладкие. Мы, дети, морщились от “кислоты”, но предпочитали почему-то антоновку.

Кусты крыжовника, белой и красной смородины, заросли малины – настоящий рай для мальчишек и девчонок четырёх-пяти лет. Жужжат над малиной мохнатые пчёлки, жужжат над дощатым туалетом больно жалящие осы. Я объедаюсь крыжовником. Из глубины сада прибегают взбудораженный пацанёнок и сообщает, что у девочки, приехавшей к нам погостить, мальчишки сейчас лижут пипку!

Я бегу с ним вглубь сада. Под большой раскидистой яблоней, увешанной спелыми яблоками, на парусиновом шезлонге, задрав белое в цветочках платьице, закрыв глаза, откинув голову с коротко стриженными ярко-рыжими волосами и растопырив голые ноги в белых носочках и сандаликах, лежит без трусов моя Натка, рядом – стоящий на четвереньках соседский мальчишка, а вокруг несколько других с интересом смотрят на происходящее.

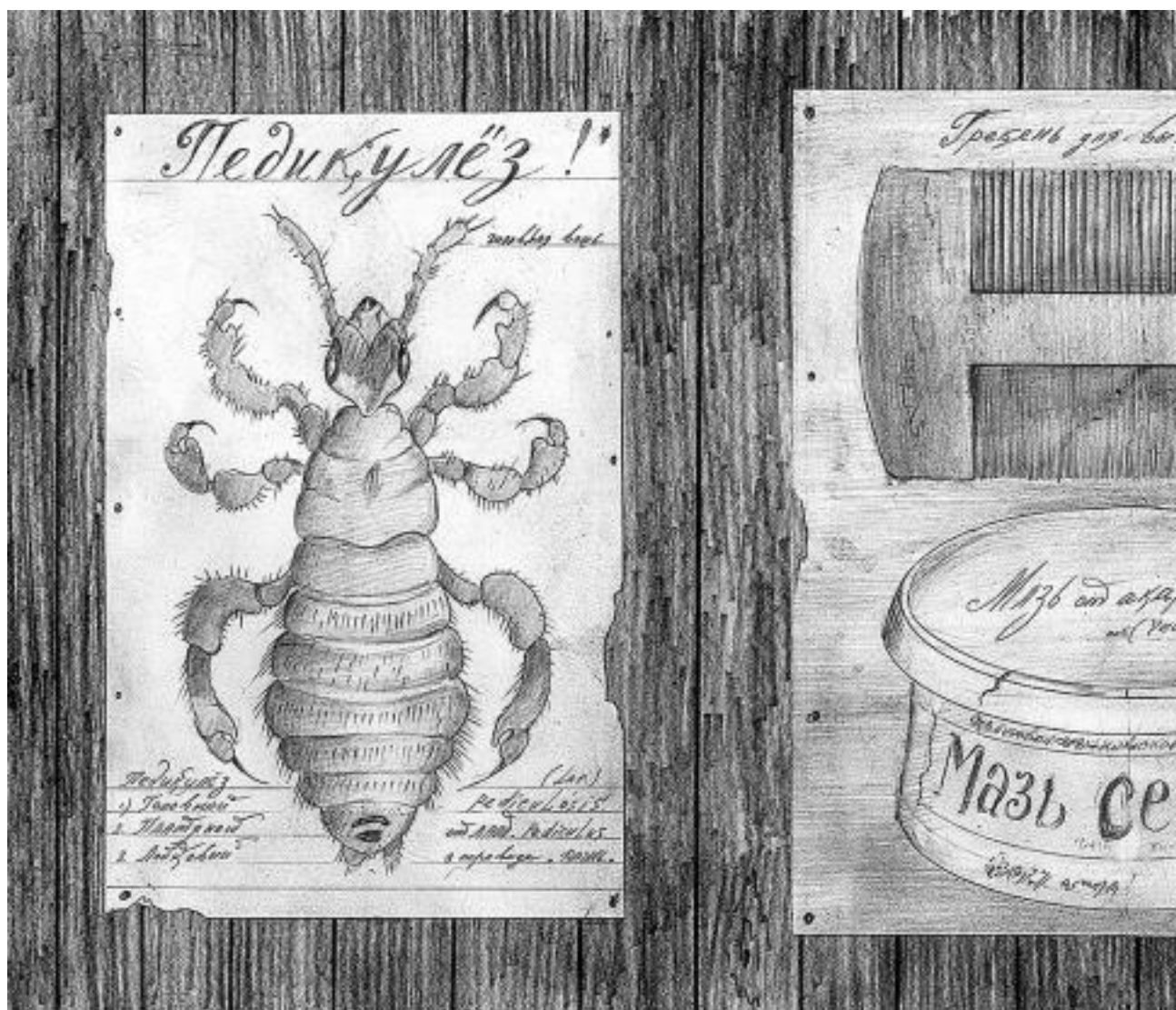


Выросший без семьи, мой отец любил приезды бабушки со своими дочерями, называл их рыжей командой и, как ребёнок, расстраивался, когда они уезжали обратно в Ленинград. “Ну вот, опять мамаша с рыжей командой уехала!” – горестно восклицал он, возвратившись с вокзала. По правде сказать, и я очень грустил, расставаясь с моими совсем ещё юными тётями: с чересчур серьёзной и любящей меня Валентиной и немножко бесстыжей, но милой Наткой.

Мучители

*Маленький, зубастенький
повадился в луга утят таскать...*
(Гребень и вши)
Русская загадка, XIX век

Что мучило меня и мою сестрёнку в те послевоенные годы – чесотка, вши, глисты и чирьи.



О чесотке, которой нас “наградили” кёнигсбергские бездомные дети, я уже упомянул. От вшей нам с сестрой тоже досталось. Заводились они легко, а вот вытащить “утят из лугов” было трудно. Расчёсанную ногтями зудящую голову мама намазывала керосином, чтобы вывести гнид, заводящихся у корней волос. Каждый вечер мама раскладывала большой белый лист бумаги на столе, сажала нас перед ним и черепашым гребешком с частыми зубьями начинала вычёсывать вшей. Мы громко хнычем от боли, вошки падают на белый лист бумаги и пытаются с неё убежать, их с хрустом давит мама ногтем и, чтобы отвлечь нас от боли, мгновенно сочиняет про каждую бегущую вошь смешную историю, и нам уже не так больно. Но битва с “утятами” была проиграна, и нас обрили наголо.

Изгнание аскарид, поселившихся в наших животах, было процедурой нелёгкой и тошнотворной. Для начала литрами выпивать горчайшую английскую соль, глотать сильнейшие глистогонные таблетки, а затем, каждый раз “оправившись по-большому”, сидеть на корточках и ковыряться в дерьме палочкой в поисках отравленного насмерть аскарида. Учитывая мнение, что аскариды живут парами, отсутствие одного из них заставляло нас снова проходить мучительную процедуру “изгнания”.

Мою сестрёнку чирьи обошли, а мне от них презрительно досталось. От нехватки витаминов начался фурункулёз. Большущие чирьи “украсили” моё лицо, шею, спину. От этого поднялся жар, терзали сильные боли. И когда чирьи проходили, на теле оставался глубокий рубец кругловатой формы. Несколько таких заметин остались у меня на лице и теле на всю жизнь.

Помню, как мама, пытаясь согнать с меня чирьи, распевала красивым голосом смешной народный заговор:

Чирий – Василий – стань пошире
Или подале, чтоб люди не видали.

И от этого боль, казалось, утихала.

Малолетняя проститутка

Однажды поздно вечером отец привёл в наш дом грязную немецкую девочку лет тринадцати. Был он явно подвыпивший и улыбаясь подтолкнул девочку к оторопевшей жене: “Вот, Юленька, эта хорошая девочка будет теперь жить с нами, я хочу её удочерить. Мишеньке с Танечкой будет веселее с новой сестричкой, а когда нас дома нет, то она за ними присмотрит”.



Девочку звали Ирмой. Родители погибли во время бомбёжки, и она нищенствовала днём, а ночью ночевала в подвалах. Мать долго отмывала Ирму от заскорузлой грязи, сожгла её прошивевшую одежонку и, будучи искусной портнихой, перекроила и перешила какое-то своё платье, и на другой день отмытая и выспавшаяся Ирма облачилась в чистую одежду. Правда, пробыла она в нашей семье недолго.

Фрау Берта с Хильдой отправлялись вечером домой, родители куда-то уезжали, а я с сестрой оставался на попечении Ирмы. Как-то раз возвратившиеся в дом родители застали меня в слезах, с распухшим, раскорябанным мальчишеским членом. Я рассказал им, что, затащив их сына под обеденный стол, Ирма разделась догола и делала что-то непонятное в его трусах, отчего стало очень больно.

Как потом выяснилось, несчастная немецкая девочка была изнасилована русским солдатом и зарабатывала себе на хлеб, отдаваясь кому попало. Ирму после этого родители вынуждены были отправить обратно на улицу. Перед этим мама сшила ей тёплую шапочку, смастерила пальто, рукавички, муфточку...

Иногда я видел в окне бредущую фигурку Ирмы. Она даже не поворачивала головы в сторону нашего дома.

Прощай, фрау Берта, прощай, Хильда

В 1946 году советским правительством было принято решение выселить немцев из Кёнигсберга, отправить их в Восточную Германию, а город переименовать в Калининград.

И вот вдовы и дети солдат, отправившихся завоевывать земли России, должны были в течение двадцати четырёх часов покинуть навсегда свой город, имея право взять с собой один чемодан на человека.



Заплаканная фрау Берта пришла попрощаться с нами и принесла алюминиевую посуду, которую не могла увезти с собой. Пара кастрюлек, ковшиков, дуршлаг для мытья овощей. Эта кухонная утварь долгие годы служила нам, напоминая о милой фрау Берте... И я, учась в СХШ, Средней художественной школе в Ленинграде, часто использовал их в своих натюрмортах.

Мама плакала и обнимала фрау Берту. И вот моя немецкая няня поцеловала пустившего слезу маленького “доктора Геббельса” и навсегда ушла со своей дочкой из нашей жизни.

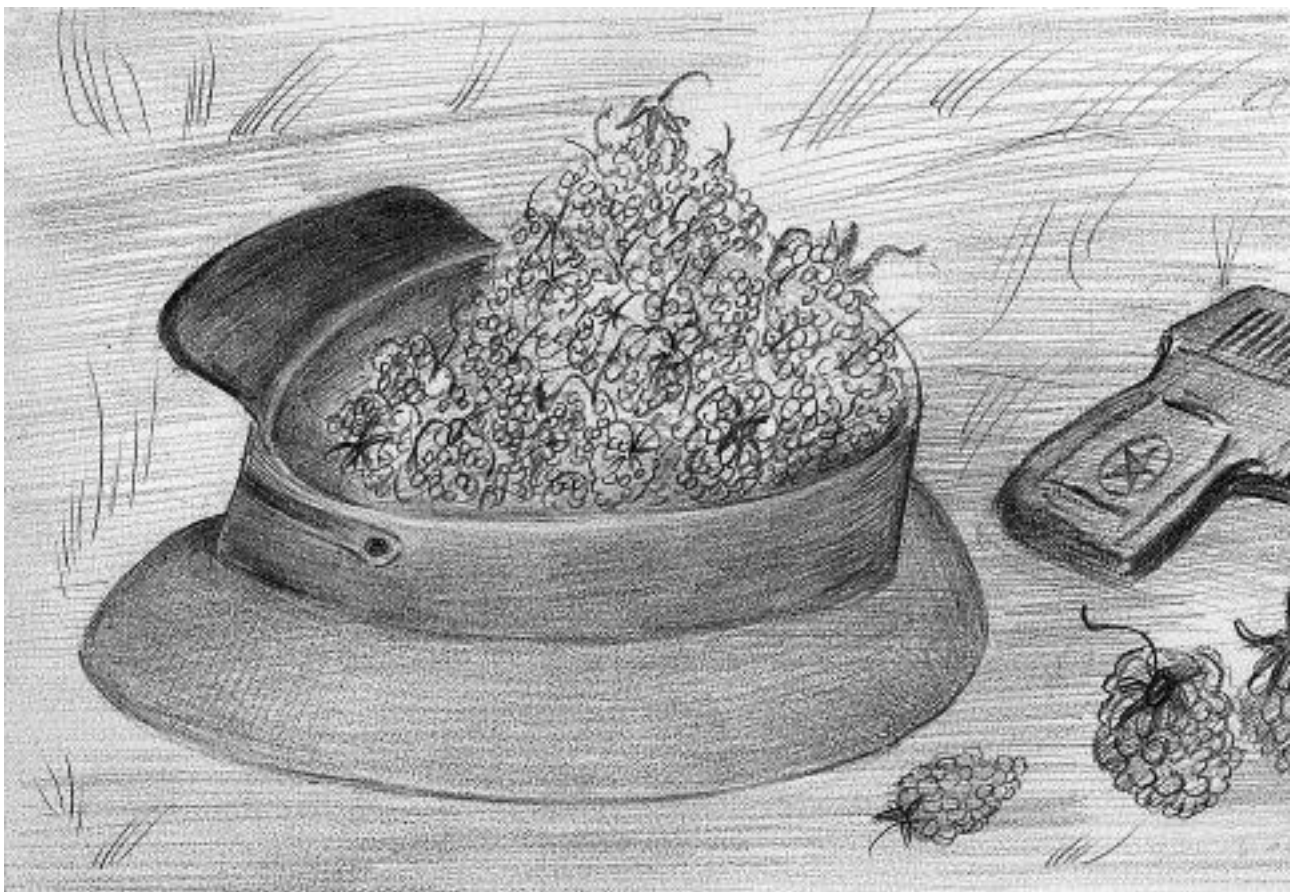
Молодые немецкие девушки, успевшие завести любовные интрижки с советскими солдатами, не хотели уезжать от своих возлюбленных и прятались по заброшенным садам и подвалам пустующих домов. Их разыскивали отряды солдат с овчарками на поводках, запихивали в машины и везли к месту сбора. Вот и из нашего сада вывели нескольких рыдающих немецких девушек, прятавшихся в зарослях.

Тем, кому удалось избежать в этот день высылки, путь в Германию был навсегда отрезан. Поскольку с этого дня они находились не в Восточной Пруссии, не в городе Кёнигсберге, а в новорождённом Калининграде, расположенном на территории Советского Союза, из которого выезжать куда-либо было не положено.

“В восемнадцать ноль-ноль...”

В нашем малиннике, находившемся в самом конце сада, кроме сбора спелых ягод и “извлечения” прятавшихся в них немецких девчат, подлежавших высылке, могло случиться и то, что привело в панику военный штаб Кёнигсбергского округа и подняло на ноги роту солдат с собаками-ищейками.

Причиной этого была коротенькая записка, которую моя мама, вернувшись с репетиции, обнаружила на обеденном столе. Химическим карандашом аккуратным отцовским почерком там было выведено: “В восемнадцать ноль-ноль – кончаю жизнь самоубийством”. И подпись: гвардии полковник М.П. Шемякин.



Ни моего отца, ни его мундира, ни его пистолета нигде не было. Мать в панике звонит в штаб, и вскоре прибывают солдаты с овчарками в сопровождении множества офицеров. Обыскивают подвалы, чердак, бегают вокруг дома – отца не находят. Уже темнеет, 18:00 прошло... Ищут тело покончившего с собой... Дают собакам обнюхать что-то из личных вещей отца, и собаки-ищейки устремляются в глубину сада.

Собаки ведут в малинник, солдаты раздвигают кусты и... замирают по стойке смирно. Перед ними, подстелив китель под зад, сидит в белой рубашке, в галифе и сапогах живой и невредимый полковник Шемякин. На коленях у него лежит офицерская фуражка, полная малины. У ног лежит пистолет. Глядя на мою изумлённую заплаканную мать, отец, опустив спелую ягоду в рот, задумчиво произносит: “А знаешь, Юля, малина здесь очень хорошая”.

Хрустальная пепельница

Перед входом советских войск в Кёнигсберг богатые немцы стали закапывать у себя в садах и во дворах ценные вещи. И время от времени солдаты-сапёры в поисках мин наткнулись на клады, и офицеры делили между собой извлечённое из земли немецкое добро. Таким образом в нашем доме появилась тяжеленная хрустальная пепельница, которую мой отец, будучи заядлым курильщиком, доверху заполнял окурками. И именно эта пепельница сыграла важную роль в жизни нашей семьи.

Я сидел между отцом и матерью на заднем сиденье открытого американского джипа, а на переднем рядом с шофёром сидела Натка, держа на коленях мою маленькую сестрёнку. Мы мчались домой после какого-то офицерского застолья, где отец сильно выпил, а поскольку всё происходило в жаркий июльский день, его изрядно развезло. Неожиданно ему захотелось самому вести машину, и он, привстав с заднего сиденья, перегнулся к шофёру и стал вырывать у него руль. Несчастный солдат, вцепившись в баранку, только бормотал “товарищ полковник, товарищ полковник, может, не надо”, но, получив полковничьим кулаком по голове, умолк, откинувшись на сиденье. А отец, несмотря на истошные крики матери и наши, перегнувшись через отключившегося шофёра, схватив обеими руками руль, вёл машину.

Очнувшись, шофёр, понимая, что нужно немедленно что-то предпринять, стал пытаться затормозить. Машина сбавила ход и врезалась в одинокий дуб, стоящий на краю обрыва. Мелкие осколки разбившегося лобового стекла поранили нам всем лица. Мы осторожно вылезаем из джипа и видим, что одним колесом он висит над пропастью. Не будь этого дуба, не нажми солдат на тормоз, летели бы мы все туда, откуда не возвращаются.

Мы бредём по пыльной дороге к дому. Мать на чём свет стоит кроет отца, а он молчит и улыбается пьяной бессмысленной улыбкой.

И вот наконец, измученные, в пыли и кровотокающих порезах, мы добрались до дома, где можем уже прийти в себя, умыться, выдернуть мелкие осколки впившегося стекла и забраться в кровать. Но не тут-то было! Отец, не отвечавший на мамину брань, решил ответить “по-своему” и, повалив её на диван, стал душить телефонным проводом, оторванным от стены.

Вконец перепуганная Натка унесла Танечку в соседнюю комнату, а я в оцепенении стоял и смотрел, как чёрный липкий провод впивается в мамину шею, рвёт ей кожу, как эта кожа наматывается на провод, обнажая что-то кроваво-красное. Мама дрыгает ногами, туфли летят с ног, она хрипит, отец на растопыренных коленях, склонившись над ней и глядя в лицо, продолжает душить. Я понимаю, что ещё немного – и моей мамы, моей любимой мамы больше не будет!

Я беру в обе руки тяжеленную пепельницу и, встав на стоящий рядом с диваном табурет, поднимаю её высоко и опускаю на голову отца... Мама отодвигает рухнувшее на неё тело мужа, разматывает провод, и мы спускаемся в подвал, где она моет холодной водой из бака

окровавленную шею, тянет вниз лоскут кожи, держит его ладонью. Я прижимаюсь к ней, и мы сидим на каменном полу, тяжело дышим и молчим.

Немцы этот банкет не забудут

Отца перевели в Бранд-Эрбисдорф. Бургомистр этого немецкого городка, в котором отец теперь был комендантом, решил устроить в здании ратуши большой банкет по поводу какой-то значительной даты, не то дня рождения Ленина, не то Карла Маркса.

Разумеется, в первую очередь были приглашены комендант города с супругой. А также из соседнего гарнизона – советские офицеры с жёнами. С немецкой стороны – генералы и офицеры, тоже с жёнами.

К удивлению бургомистра, герр комендант явился на банкет не только с очаровательной супругой, но и с малолетними детьми, которым вообще-то на банкете быть не полагалось. Но каково же было изумление бургомистра, когда в зал стали входить советские офицеры, ведущие под руки своих жён, одетых в длинные ночные шёлковые рубашки...

Бедные женщины накануне банкета специально отправились в Дрезден, где в универмаге купили немецких шёлковых ночных рубашек и комбинаций, приняв их за бальные платья. Лямочки, вышитые розочки на груди, шёлк стелется до полу – ну чем, к примеру, не платье Наташи Ростовской. Воспитанные немцы и виду не подали, что “какие-то детали” в одежде советских дам не присутствуют. И банкет состоялся!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.